

КОРОЛИ ФРАНЦУЗСКОГО ТРИллЕРА

МАКСИМ ШАТТАМ



ДА БУДЕТ
ВОЛЯ ТВОЯ

ПРОДАНО БОЛЕЕ 7 000 000 КНИГ

Короли французского триллера

Максим Шаттам

Да будет воля Твоя

«Издательство АСТ»

2015

УДК 821.133.1-312.4
ББК 84(4Фра)-44

Шаттам М.

Да будет воля Твоя / М. Шаттам — «Издательство АСТ»,
2015 — (Короли французского триллера)

ISBN 978-5-17-115010-5

Добро пожаловать в Карсон Миллс, небольшой городок на Среднем Западе с маковыми полями, лесами и маленькими домами, где все знают друг друга по имени, а секреты сложно утаить. Настоящий маленький рай... если бы не Йон Петерсен. Он – воплощение всего худшего, что есть в человеке; сам Дьявол боится его. Рано или поздно вы окажетесь у него на пути. И тогда... Ваши самые низменные инстинкты могут вырваться наружу.

УДК 821.133.1-312.4
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-115010-5

© Шаттам М., 2015
© Издательство АСТ, 2015

Содержание

Предисловие	6
1	7
2	11
3	14
4	16
5	20
6	24
7	29
8	32
9	37
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Максим Шаттам

Да будет воля Твоя

Maxime Chattam
QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE

Серия «Короли французского триллера»
Перевод с французского Елены Морозовой
Оформление обложки Екатерины Ферез

© Maxime Chattam, 2015
© Editions Albin Michel, 2015
© Морозова Е., перевод, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Искусства пересекаются, дополняют и взаимно обогащают друг друга – для этого они и созданы. Когда вы будете читать этот роман, предлагаю вам поставить фоном музыку, ту самую, что вдохновляла меня во время написания почти всего произведения. Музыка позволяет отрешиться от мира, уединиться в своей читательской башне из слоновой кости. Вот те музыкальные произведения, которые, на мой взгляд, станут прекрасным сопровождением к этой книге:

- «Дом из песка и тумана» Джеймса Хорнера;
- «Часы» Филипа Гласса;
- «Четыре времени года» Вивальди в обработке Макса Рихтера.

Посвящается Ноне, Сюзен, Ги и Дани, привившим мне вкус к старине, а еще потому, что они там, откуда пришел я.

Он попытался вспомнить сон, но не смог. Осталось только впечатление, которое сон произвел на него. Он подумал, что эти существа, возможно, явились, чтобы предупредить его. Предупредить о чем? О том, что он не может пробудить в сердце ребенка то, что в его собственном сердце обратилось в прах.

Кормак Маккарти,
«Дорога»

Мой замысел – это всего лишь мой замысел, а дело есть дело.
Поль Валери,
«Тетради»

Предисловие

Во многих романах, где препарируют то, что называют насилием и злом, читателя держат за дверь с крошечным окошком, куда ему позволяют подглядывать, дабы он безопасно и безбоязненно мог наблюдать самое дурное, что есть в нас. Эта дверь является молчаливым обещанием защиты со стороны литературы, которая покровительствует тем, кто ей доверился. В этой книге дверь распахнута настежь. Наш роман, хотя и жесток, не пытается ничего преувеличить, он лишь ищет ответы на вопросы. Когда же будет перевернута последняя его страница, уверен, ответ на самый страшный вопрос взорвет ваше сознание. Но для этого вам придется пройти по опасным дорогам. Так что будьте осторожны.

А чтобы избежать любых недоразумений, знайте, что я не принадлежу к тем рассказчикам, с которыми вам предстоит познакомиться, я всего лишь извлек этот текст из старой пыльной коробки, найденной среди семейного хлама на чердаке.

*Эджкомб,
18 июля 2014*

1

Наступил один из тех ленивых рассветов, когда серая и сырая заря долго потягивается, а потом с трудом карабкается к низко нависшим тучам, будто бы не желая освещать очередной день на земле людей. Райли Ингмар Петерсен подпрыгивал, стараясь не угодить в заполненные грязью ямки посреди высокой травы и увядшего вереска, и в то же время не отстать от длинноногого отца, который, хоть и нес тяжелый молот на плече, легко и быстро двигался вперед. Сухощавый, с такой тонкой кожей, что при малейшем движении заметно, как вибрируют сухожилия, проступают вены и перекачиваются мускулы, напоминающие непредсказуемые морские течения и готовые в любую минуту взорваться яростной пеной, Йон словно весь состоял из нервов.

Фермер с сыном спускались по склону лощины за их владениями, двигаясь к чахлой рощице – горстке буков, тополей и ясеней с тощими, изможденными стволами, похожими на сваи, – к рифу, полупрозрачному в свете усталой зари. Йон называл этот кусок земли «неудобьем», ведь что бы там ни сеяли, ничего не проросло, и даже природе, несмотря на вековое упорство, не удалось пробудить плодородную силу в здешней бесплодной почве.

Склон покрывали беспорядочные клочья тумана. По мнению одиннадцатилетнего Райли, чьи ноги по самые бедра тонули в этих обрывках, оставляя за собой две исчезающие борозды, туман слишком тяжел, чтобы подняться в небо. Пес Купер, трусивший за ним на ремешке, исчез полностью, о его перемещениях свидетельствовал лишь призрачный поводок. Купер был маленькой тщедушной дворнягой нескольких месяцев от роду, найденной Райли накануне. Всклокоченная, с серой и черной лохматой шерстью, в которой тонули маленькие глазки, она сидела между двумя мусорными баками и дрожала от страха и холода. Райли знал, что отец ненавидит собак, он всегда говорил, что они воняют, что на них нельзя положиться и что это всего-навсего лишний рот, который придется кормить, однако в этот раз Райли не смог удержаться, чтобы не приласкать несчастное животное и в конце концов не взять его домой.

Отец пронзил его взглядом. Райли чувствовал, что точнее было бы сказать «расстрелял взглядом», он был не глуп, учился в школе, и если и получал неважные оценки, то вовсе не из-за недостатка интеллекта, а просто от нежелания посещать это заведение. Когда Йон обнаружил собаку, он медленно перевел взгляд на сына, и мальчику послышался неприятный скрежет когтей по черной доске, чернильные шарики зрачков наливались яростью, достигнув, наконец, таких размеров, что, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Они, вращаясь, царапали череп до самой кости, пока наконец не замерли, уставившись на Райли.

– Что *это*? – спросил отец с отвращением, адресованным не столько собаке, сколько ребенку.

– Это... Купер. Я нашел его по пути из бакалейного магазина.

– Ты знаешь, как я отношусь к собакам, так почему ты меня послушался?

Йон был высок, очень высок, и когда подходил к сыну, тому приходилось задирать голову, чтобы смотреть отцу в глаза. Райли знал, что в такие минуты главное – не опускать глаз. Этого Йон Петерсен не переносил. «Только слабаки отводят взгляд, когда с ними разговаривают!» – постоянно повторял он. Избегать взгляда своего собеседника означало сдать оружие, выдать себя, и если затем последует выволочка, значит, она заслужена. Поэтому Райли не отступал. Он знал, что это очень важно. И потому так сильно откинул назад голову, что на мгновение в глазах у него потемнело и он почувствовал острый запах отцовского пота и камфару табака, который тот курил. Бледное лицо Йона напоминало грозную бугристую луну с двумя бездонными кратерами, двумя безымянными пропастями, которые ни один астроном не захотел бы

ни исследовать, ни дать им название. Луна быстро затмила голую лампочку на потолке и свинцовой тяжестью накрыла Райли. Мальчик хорошо знал эту тень, он вырос под ней и знал, что в ней скрывается. Однако на этот раз он решил не отступать. Он очень хотел оставить эту собаку и ясно ощущал, что пес тоже этого хочет, что чувства их взаимны, ибо между ними произошло что-то вроде любви с первого взгляда. В кои-то веки Райли решил настоять на том, чего он хотел больше всего. Самое время, ему уже одиннадцать лет. Он не намеревался оспаривать отцовское превосходство, нет, он лишь хотел проявить характер. И верил, что это сработает. Может быть, даже доставит удовольствие Йону, хотя тот никогда этого и не скажет. В семье ценили смелость. И мальчик, набравшись духу, принялся отстаивать свое решение:

– Он станет служить нам, пап. Смотри, какой он умный, я это сразу заметил, он мог бы охотиться на лис, которые таскают у нас кур, и он хороший сторож, по нему сразу видно.

Зрачки Йона сузились. Они больше не угрожали вырваться из своих оболочек и черным потоком растечься по щекам. На их месте осталась только невидимая, пронзавшая Райли во всех направлениях сила. Две длинные пики, что прокалывают тебя, стремясь причинить боль, разворошить все тело, разорвать все внутренние органы. В тот миг Райли почувствовал, что быть расстрелянным наверняка гораздо менее болезненно, и именно поэтому отец заменил пули клинками.

А затем, столь же стремительно, как кукуруза на сковороде превращается в попкорн, клинки исчезли. Смирившись, Йон вздохнул, сухо выдохнул через нос и сделал сыну знак исчезнуть. В тот вечер они больше не говорили о Купере, и Райли понял, что таким образом отец одобрил нахождение собаки в доме. Вскоре он перестанет ее замечать. Теперь Купер стал частью семьи.

Рано утром Йон разбудил Райли, отрезал сыну ломоть хлеба и налил стакан апельсинового сока. Йон завел такой обычай, чтобы подбодрить мальчика и придать ему сил, перед тем как взять его с собой на охоту, на рыбалку или – что случалось гораздо чаще – помогать наводить порядок на ферме: чинить загородки, чистить необходимый инвентарь, латать клетки в курятнике после набега лисы или менять сгнившие от сырости доски в полу амбара. Любимый завтрак ждал Райли: большой кусок хлеба со *сливочным сыром*.

Прежде чем выйти из дома, Йон бросил сыну повод для выездки лошадей.

– Чтобы тащить твою кобелину, я не собираюсь бегать за ним.

Райли с трудом подавил улыбку. Разумеется, отец будет звать Купера «кобелиной» или «кобелем» и никак иначе, показывая этим, что он, хоть и не рад псу, все же терпит его.

Как только они прошли туманный, поросший лесом край невозделанной земли, Купер вновь появился на конце своего поводка, а впереди Райли заметил покосившийся большой столб, упавший на сетку, которую должен был поддерживать. Значит, все утро субботы им придется заниматься починкой изгороди – какие тут сомнения: такой работы на ферме всегда полно.

Йон указал на длинное бревно, скрытое высокой травой.

– Привяжи свою кобелину и давай, помоги мне.

Райли повиновался и когда он поднял голову, то успел заметить, как в лесном кустарнике скрылась косуля. Ей повезло, что отец не взял с собой карабин, иначе она бы непременно украсила собой кладовку Петерсенов. Райли не любил охоту. По правде говоря, загонять зверя, целиться и стрелять само по себе увлекательно, но он ненавидел разделку туш. Нож, разрезающий мясо, вся эта кровь и шкура, которую следовало тщательно расправлять, портили все удовольствие.

– Эй, ты что там, уснул? – раздался раздраженный окрик отца.

Вздрогнув, Райли подошел к Йону, и тот тяжело опустил ладони с длинными мозолистыми пальцами на голову сына. Его острые скулы образовывали два напряженных угла, и Райли считал, что именно из-за этого щеки отца были такими яркими. Лицо его, словно про-

жилки мрамора, покрывали вены, особенно много их проступало на лбу, придавая ему сходство с изъеденными червями досками амбара, однако сейчас прожилки вздулись, образуя путанный рельеф. Райли часто забавлялся тем, что сравнивал их ферму с отцовским телом: сухое, порченное и далекое от мира. Они жили в стороне от города, «потому что мужланы из пригорода воняют», любил повторять Йон. И сам он от всех держался на расстоянии. Словно жил между двумя вселенными. Шел он уверенно, однако совершенно бесшумно, взглядом чаще всего блуждая по окрестным пейзажам, а привычка разговаривать с самим собой отражала, как считали те, кто видел его в такие минуты, его единственную страсть возражать всем и вся.

Робкий утренний ветерок топорщил волосы отца, но он этого не замечал. Он пристально смотрел на сына. В бледном свете утра вновь возникла луна с безымянными кратерами. Райли подумал, что заря вкупе с туманом решила выпить все краски. Все стало серым и белесым, даже неровная земля, даже лицо отца, являвшее собой лишь бледные пики и впадины.

– Я не знаю, что мне с тобой делать, Райли, – без всяких эмоций произнес Йон.

Что-то произошло. Ребенку это очевидно – как сказал бы его отец, это так же ясно, как и что «на любые сиськи найдутся руки». Взгляд Райли заскользил вниз, и под ним словно разверзлись две пропасти, стремительно всасывавшие остатки хорошего настроения, сохранявшегося с утра. Ноги мальчика увязли в грязи, и внезапно он весь напрягся. Воздух вокруг них стал тяжелым и холодным. Райли с трудом сглотнул слюну. Ключья тумана повисли в воздухе, деревья перестали скрипеть, и Райли показалось, что он слышит, как трещат корни, изгибаясь в каменистой почве. Только Купер не обращал ни на что внимания: играя с веточкой, он вертелся у подножия поваленного дерева.

Не отпуская сына, Йон глубоко дышал, со свистом выпуская из ноздрей воздух.

– Сколько раз я должен повторять, чтобы ты, наконец, понял?

Райли чувствовал, как иней, скопившийся в глубине долины, проник к нему под одежду и поднимается вверх по спине, оставляя за собой леденящий влажный след, какой мог бы оставить призрак всех смертей, случившихся здесь с незапамятных времен.

– Значит, я для тебя не хороший отец? После всех моих жертв? После всего, что я дал тебе? Всего, что я для тебя делаю? Да ты меня не слушаешь. Ты делаешь только то, что хочешь, не подчиняешься никаким правилам. Так продолжаться больше не может.

Райли сжал зубы. Он знал, что сейчас последует подтверждение правоты отца, ибо он совершил ошибку. Мальчик опустил взгляд, чтобы проверить, надел ли отец свой кожаный ремень с большой медной пряжкой. Наказание не заставило себя ждать: пощечина пришлась на ухо, разрывая барабанную перепонку и обжигая висок. Рухнув в грязь, мальчик не шевелился. Он знал, что именно в такие моменты не следовало покоряться. Йон ненавидел малодушие. Ничто так не приводило его в ярость, как малейшее проявление слабости. Сносить удары, а главное, не стонать, не дрожать, не шевелиться, иначе удары посыплются градом. Да, ненависть Йона к слабым граничила с безумием.

– Ты заслуживаешь хорошего урока, Райли.

В голосе отца не прозвучало ни малейшего сомнения, ни капли сострадания. Мальчик спрашивал себя, что такого он мог сделать, чтобы заслужить такую взбучку. Неужели из школы пожаловались на его поведение? Или родители Бена сообщили, что он по-прежнему задирает их сына? Но ведь это Бен постоянно доставал его, именно он...

Йон помахал молотом перед сыном.

– Ты должен понять, – назидательным тоном произнес он. – Зарубить себе на носу. А знаешь, как твой дед учил меня?

Райли слышал эту историю сотни раз. Ингмар, чье имя он носил, на самом деле был его прадедом, так как отец Йона скончался вскоре после того, как они переехали из Швеции в Америку.

– Преподносил хороший урок, – продолжал Йон. – Становись на колени.

Райли еще больше растерялся. Такого в привычках папаши еще не было. Что он еще изобрел?

– Я сказал, на колени!

Райли безмолвно повиновался, а отец, обхватив рукой его лицо, принялся поворачивать ему голову. Он тянул так сильно, что Райли даже поддался, чтобы не свихнуть шейные позвонки. Он чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Но не от боли, а от страха. Отец пугал его. Приводил в ужас. Особенно когда надевал маску луны и начинал говорить таким ледяным тоном.

– Ты будешь смотреть и не пропустишь ничего, дабы это послужило тебе уроком, мальчик.

Йон наклонился и, схватив Купера, прижал его голову к поваленному дереву. И тут Райли понял. Все его мускулы напряглись, и он вскочил на ноги.

– Нет! – завопил мальчик.

Отец размахнулся и носком грубого башмака ударил Райли в грудь. Задышавшись, сын опрокинулся на спину, захрипел, пытаясь вдохнуть воздух, и схватился за грудь, словно в поисках способа вновь запустить организм. Его искаженный болью рот широко открылся, голова откинулась на траву. Грязь медленно затекала в ухо.

Воспользовавшись беспомощным положением сына, Йон подтянул поводок Купера и несколько раз обмотал его вокруг бревна, чтобы пес не рвался и был как можно ближе к дереву. Сначала щенок пытался освободиться от стянувшего его шею ремня, но потом затих. Его темные глазки перебегали с Йона на Райли.

Упершись ногами в землю, фермер занял позицию и схватил за рукоять утопленный в рыхлой почве молот.

– Смотри как следует, сынок, потому что я больше не желаю терпеть твое неподчинение, ты меня понял?

С чавкающим звуком выдернув молот, Йон подождал, пока сын придет в себя, а затем, с силой размахнувшись, размозил собаке голову.

От звука удара в воздух поднялась стая скворцов. Собравшись в плотное облако, они напоминали занавес, приподнявшийся над зловещим зрелищем, в котором самое худшее еще впереди.

2

Прежде чем продолжить, должен вам признаться, что на самом деле эта история не моя. Она наша.

Не важно, кто я такой, важно, что я знаю и как я вам об этом расскажу.

Как читатель, я всегда считал, что повествование само устанавливает связь между собой и своим адресатом, индивидуальная фокусировка и повествование от первого лица свидетельствуют лишь о выборе художественных и семантических средств, но ни к чему не обязывают. Способ выражения особенной роли не играет, главное – завладеть читателем. Его вниманием. Его личными переживаниями. Но в сущности, то, что остается, воздействие эмоций, сохранившихся и пробужденных в памяти книгой, каждый читатель определяет самостоятельно, согласно собственной эмоциональной шкале. В этом смысле данная книга ускользает из-под контроля своего автора, несмотря на все пущенные в ход приемы для надзора за ее воздействием.

Я уточняю это, чтобы вы поняли: когда в этой истории я говорю непосредственно от себя, я делаю это с единственной целью – преодолеть главную ее трудность, которую я решился переложить на бумагу, а именно представить финал так, чтобы у читателя не осталось гнетущего чувства разочарования и недоверия, а, напротив, пришло понимание его революционного значения. Мое периодическое появление кажется мне оправданным, подобно информации непроверенной, но снимающей напряженность повествования. Своего рода амортизатором, чем-то вроде гида, продублированного переводчиком. Я искренне верю, что из взаимосвязи между главными действующими лицами этого повествования складывается Великая История, что герои создают ее, фрагмент за фрагментом, искусно соединяя ее с переживаниями, сопутствующими каждому в нашей реальной жизни.

Это история о власти, что язвит нам душу, о нарушениях непреодолимых запретов, о пути в погибель. И о гражданском поступке во имя большинства, во имя справедливости. Но прежде всего это портрет маленького городка. Моего городка.

Карсон Миллса.

Вы можете взять любую карту американского Среднего Запада, даже слегка потертую, найти на ней отдаленную сельскую местность, где есть невысокие холмы, несколько речушек и горстка широких лесополос, и поставить палец туда, где вам хотелось бы найти Карсон Миллс. В нашем городке нет ничего особенного, он появился на земле в то время, когда, повинувшись железной дороге, человек разбивал свои эдемские сады быстрее, чем сам Господь Бог создавал мир. Среди бесконечных холмистых равнин дороге требовался участок, где можно хранить необходимые стройматериалы, участок для хранения рельсов, шпал, болтов и гаек, составлявших в то время кровеносную систему страны. Хлипкие бараки для рабочих жались друг к другу, палатки обрастали досками и дранкой, на одних участках растили овощи, на других разводили скот, чтобы кормить всех этих людей, а в скором времени здесь высадились девицы, чтобы вечера проходили веселее, появился алкоголь, чтобы согревать сердца, а какая-то церковь быстренько подсуежилась, начав надзирать за всеми и всем напоминать, что их души могут погрязнуть во грехе. В то время городки возникали просто так, на ровном месте. За несколько месяцев. Мы были землей возможностей и случайностей, где человеку достаточно внимательности и умения не упустить шанс. Именно поэтому мы и сегодня, я уверен, являемся самым мобильным народом. Переезд из Цинциннати в Кливленд или из Джексонвилла в Портленд в поисках коммерческой выгоды заложен у нас в генах, средний американец переезжает несколько раз за свою жизнь, и не только для того, чтобы поменять квартиру. Это априори

превращает нас в самую главную кочевую нацию в мире. Мне всегда было забавно слушать людей, называющих цыган городскими паразитами.

В наши дни в Карсон Миллсе проживает всего несколько тысяч жителей, что по современным критериям относит его к разряду крошечных городков, а некоторые и вовсе считают его деревней. Однако это не означает, что за десятилетия, прошедшие со времен золотого века поездов, наше население уменьшилось, нет, ведь по прежним стандартам мы считались, скорее, крупным городом. Правильнее будет сказать, что мир за пределами Карсон Миллса вырос, разрослись другие городки, и, как ни крути, вся нация развивалась, в то время как Карсон Миллс оставался тем, чем был всегда. Немного похожим на мальчишку, который видит, как его школьные товарищи с годами взрослеют, пока сам он продолжает оставаться мелкотой. В конце концов такой парень замыкается в своем углу, перестает общаться с внешним миром и предпочитает жить в своем ритме, так как вокруг нет никого, кто был бы на него похож. Именно так и поступил наш Карсон Миллс: замкнулся в себе, следил, чтобы никто не покушался на окружающие его леса, на ведущие к нему километры пустынных дорог, и спокойно жил в соответствии со своими традициями.

И все же это прекрасное местечко для жизни. Здесь все друг друга знают, и привычки каждого отсчитывают дни с уютной регулярностью метронома. Городской центр, застроенный маленькими деревянными домиками, словно сошедшими с кадров черно-белого кино; главная улица, Мейн-стрит, на которой все встречаются; тихие жилые пригороды, словно пребывающие в летаргии, в окружении полей, пастбищ, где кормятся свиньи и быки, и лесистых холмов, служащих границей от внешнего мира, – вот так выглядит наш городок. Что касается политики, в Карсон Миллсе обсуждать нечего, мы все республиканцы, а ежели кто не согласен, может валить отсюда. И так из поколения в поколение. Мэр, как и шериф, удерживают свои мандаты, и оба знают всех жителей по именам. Единственным предметом для ссор, способным разобщить обитателей города, являются церкви. Лютеранская и методистская. Каждый делает свой выбор, у каждой церкви своя паства, а между ними непроницаемая стена, какой нет даже между белыми и цветными: в Карсон Миллсе для вашей характеристики очень важно, с какой колокольни вам толкуют учение Господа. Лично я остерегусь выносить оценку той или другой церкви, это было бы несправедливо. Но могу утверждать, что именно церковные разногласия лежат в основе этой истории, по крайней мере, мне так кажется. Ибо любой, кто бы ни являлся свидетелем столь запутанного дела, тянущего на настоящий роман, знает: всегда сложно определить точную причину, зафиксировать исходную точку. Только в беллетристике можно отлить в конкретную форму любое событие, любое действие, любую фразу, превратить их в символический тотем и сделать из них начало своего романа.

Со своей стороны я старательно обдумал и перечитал до этого места, и если бы потребовалось определить, с чего все началось, я бы сказал, что все случилось примерно сорок лет тому назад, в тот июльский вечер, когда мечтательная и впечатлительная девушка Виллема Ходжсон провалилась в омут голубых глаз Ларса Петерсена (недавно прибывшего из Швеции на американский континент, в эту землю обетованную), и, завороченная его акцентом, столь стремительно заскользила по склону сладострастия, что раздвинула бедра и позволила себя совратить. В те времена в таком округе, как наш, чтобы сохранить достоинство и честь, проблему беременности в девятнадцать лет можно было уладить только одним способом: срочной свадьбой обоих виновников, так, чтобы роды хотя бы приблизительно соответствовали по срокам девяти месяцам с первой брачной ночи. Классика, скажете вы мне. Если не считать того, что Ходжсоны были истыми методистами, а Петерсены – убежденными лютеранами, и когда речь заходила о вере, главы обоих кланов, Саул и Ингмар, являли такой истовый пыл и такую преданность своим религиозным ценностям, что выходили за рамки раскола и бросались в чистый фанатизм. Когда Саул Ходжсон узнал, кто отец, его жене пришлось шарахнуться его железной кастрюлей, чтобы тот не задушил свою несчастную дочь. Со своей стороны Инг-

мар использовал проверенный метод и довольствовался тем, что, покачивая головой, принялся избивать сына до тех пор, пока оба не потеряли сознание: один от града ударов, а другой от изнеможения. Но в обоих случаях и Саул, и Ингмар молили Господа, чтобы тот в милосердии своем простил детей за совершенный грех, хотя сами они пытались их убить.

Что бы ни говорили женщины обоих кланов, занимавшие в этом деле наиболее умеренную позицию, брак между методисткой и лютеранином оба семейства считали худшим позором, чем внебрачная беременность. Все девять месяцев Саул держал Виллему взаперти, известив Петерсенов, что у них нет никакого права претендовать на ребенка, ни морального, ни тем более религиозного. Ларса такое заявление глубоко опечалило, потому что он искренне любил Виллему. Надо сказать, что если грубые черты его лица подчеркивались высокими скулами, а узкие глаза свидетельствовали о славянском морфологическом рудименте, то она, взяв все от матери, златокудрой германской красавицы, со стороны отца получила унцию ирландского лукавства, сделавшего ее особенно прекрасной.

Сдерживаемая страсть и периодические побои, возможно, стали пусковым механизмом, объясняющим появление Ларса у Ходжсонов в вечер родов. Он хотел видеть своего ребенка и ту, кто уже почти год постоянно присутствовала в его мыслях. Саул не пожелал выслушать его благосклонно, а выгнал, швыряя в него ножи, поленья и котелки и сдабривая все это щедрыми порциями оскорблений. Спустя час дверь Ходжсонов резко отворилась, промокшая от холодного дождя фигура скользнула к камину, где закипала вода в котелке, а рядом лежали окровавленные полотенца, и Ларс Петерсен выстрелил из своего охотничьего карабина в методистского патриарха. Саул обладал толстой шкурой, соответственно, агония растянулась на долгие часы, и у него хватило времени, чтобы, истекая кровью, дотащиться до кухни, там дрожащими руками схватить собственное ружье, зарядить его, уронив на грязный пол коробку с патронами, и старательно забить их в ствол, один за другим, в сопровождении женских воплей. Он был достаточно упрям, чтобы оттолкнуть смерть, раз он еще не закончил только что начатое дело. Но, возможно, он оказался недостаточно выносливым, чтобы сохранить ясность сознания, хотя, впрочем, этого никто никогда не узнает. Как бы то ни было, ферма озарилась сполохами выстрелов, поплыл смрадный запах пороха и крови, а когда глухое эхо выстрелов стихло, остались слышны только стоны Виллемы и прерывистые крики новорожденного младенца. Саул, его жена Хельга и Ларс лежали в зловещих кровавых лужах, где, как могли поклясться некоторые, методистская кровь блестела иным цветом, нежели кровь лютеранская.

За то время, пока добиралась помощь в лице самого Ингмара Петерсена, измученная родами Виллема скончалась. Младенец выжил только благодаря остаткам тепла, сохранившегося в теле матери, чьи руки обнимали его, словно саван из молочно-белой кожи, испещренной алыми полосами. Ингмар взял ребенка, а когда шериф потребовал объяснений, фермер отвечал так убедительно и уверенно, что никто не осмелился ему возразить. Умопомешательство обеих сторон участников драмы не давало оснований для отправки сироты в анонимный пансион на другом конце штата, подальше от тех, кто был его родственниками.

Ингмар обосновался в Карсон Миллсе всего год назад. Во время перехода через Атлантику он потерял жену, унесенную внезапно начавшейся лихорадкой, а сейчас – старшего сына. У него остались две дочери, помогавшие по хозяйству, а теперь добавился новый рот. Он назвал младенца Йоном, ибо, насколько он помнил, на земле его предков это имя означало «Бог милостив».

Однако если Господь оказался милостив, сохранив Йону Петерсену жизнь, сам Йон милостивым не был никогда. Впрочем, надо признать, что если большинству из нас прийти в этот мир помогают живые, то Йона, когда он покинул материнскую утробу, встретили только мертвые.

Есть приметы, которые не обманывают.

3

В шесть лет у Йона не было иных увлечений, кроме как пойти на задворки семейной фермы, сесть у подножия холмика охряного цвета и, склонив голову, часами наблюдать, как колонны муравьев проделывают в нем тонкие бороздки. Время от времени он брал веточку, клал ее у насекомых на дороге и смотрел, что они станут делать. Йон не знал более интересного занятия, чем наблюдение за муравьями, оно превращалось в настоящую интерактивную игру, когда на любое изменение ситуации тотчас следовал ответ, чего, разумеется, никакой деревянный паровозик или пластиковая фигурка не могли предложить. Разумеется, один или пара приятелей, его ровесников, могли бы придумать развлечения и поинтереснее, но Петерсены жили на отшибе, и, следовательно, чтобы добраться к ним пешком или на велосипеде, требовался веский повод. Однако в школе Йон успехами не блистал, разговорчивостью не отличался, в играх не участвовал. Замкнутый мальчик холодно взирал на своих школьных товарищей. Взрослые говорили, что «у него очень богатый внутренний мир», на самом деле подразумевая, что Йон – асоциальный тип. Он ни с кем не дружил, детские игры его не интересовали, и он не принимал в них участия, предпочитая анализировать поведение своих ровесников во дворе или по дороге в школу. В конечном счете, Йона гораздо более привлекал тот бугорок органики, что высился на задворках их фермы, нежели воображаемые перестрелки его ровесников. С муравьями мальчик мог играть по своим правилам, они не умели жаловаться, а если бунтовали, то быстро успокаивались. К тому же, спектакли, которые они разыгрывали, всегда вызывали удивление, будь то ликвидация последствий разрушений, причиненных дождем, расчленение и транспортировка останков навозного жука или даже столкновение с другими когортами муравьев, пришедших издалека.

Однажды после того, как Ингмар надрал ему уши за то, что он не проявляет интереса к учебе, Йон рассеянно расковыривал палочкой вершину муравейника, как вдруг гнев его вырвался наружу. Гнев от побоев, которые он считал несправедливыми, переполнял его. Школа не сумела его заинтересовать, школу изобрели взрослые, так почему он должен платить за это, ведь это их, *именно их* вина, что система подходит не для всех детей! И он с силой придавил веткой скопление насекомых, занятых починкой муравейника. Множество крошечных телец забились в конвульсиях, раздавленных, разорванных, с беспорядочно дергающимися лапками и усиками. Йон смотрел на них, приблизив лицо на несколько сантиметров к их голгофе, и сумел оторваться от заворожившей его картины только тогда, когда последний муравей испустил дух. И тут он снова затрясся, дрожь поднималась от чресел, будоражила какую-то рептильную часть его мозга¹, по телу пробежали крупные мурашки. Тогда Йон впервые ощутил шевеление в нижней части живота, словно у него под желудком порхала стайка бабочек, щекоча его изнутри. Ощущение было приятное. Он не чувствовал и капли вины, а едва возникшее сожаление бесследно исчезло, сметенное столь удивительным порывом силы.

Йон взял веточку и принялся сеять смуту на склонах муравейника. Он делал это методично, на протяжении долгих минут, с нарастающим возбуждением и яростью распространяя смерть и хаос. Когда же, наконец, он выпрямился, у его ног лежали развалины, усеянные сотнями, а то и тысячами трупов. Мальчик тяжело дышал, стоя по щиколотку в трухе, оставшейся после устроенного им погрома, и устремив взгляд к белым облакам, плывшим мелкими гроздьями по лазурному морю. Легкая пена, выступившая в уголках губ, подрагивала от его горя-

¹ Согласно «теории триединого мозга» человека, это самый примитивный и самый старый вид мозга (*прим. пер.*).

чего дыхания, словно паруса корабля, подхваченные постоянно меняющими направление ветрами. Армада бабочек в животе опьяняла его ласками своих трепещущих крыльев.

Так Йон впервые открыл божественную власть над жизнью и смертью других. Разумеется, речь шла всего лишь о муравьях, но ему этого вполне хватало, ему совершенно не хотелось ничего другого, только крошечных существ, не способных противостоять, кричать и защищаться: именно в этом и заключался весь интерес. Ему понравилось контролировать. Усмирять. Подчинять. Уничтожать.

Ханна, младшая из двух его теток, присутствовала при этой сцене, стоя за дверью на задний двор с баком чистого белья, которое предстояло развесить вручную. Сначала она смотрела с любопытством, затем недоверчиво, а потом ее охватило беспокойство, и оно словно посоветовало ей ничего не говорить и отвести взгляд. В жизни маленького мальчика бывают моменты, при которых лучше не присутствовать, и это один из них, подумала она. Собственно говоря, она не считала детство Йона тяжелым, по крайней мере по ее меркам, но все же он родился в крови, и это очевидно довлело над его несчастной душой. Ханна поправила бак, пристроив его на бедро и, пожав плечами, направилась к веревкам, натянутым между стеной кухни и столбом, утыканным длинными гвоздями. В конце концов, Йон в своем праве: он учился распознавать гнев, ярость, несправедливость, а все эти чувства так или иначе находят выход.

Она сделала вид, что ничего не заметила, и пошла своей дорогой.

А позади, раскинув руки, Йон по-прежнему смотрел в небо.

Он старался думать о Христе.

Как же хорошо обладать властью, равной власти Бога.

4

Однажды августовским утром, в лесу, раскинувшимся на холмах, окружавших Карсон Миллс с юга, Йон, которому уже исполнилось двенадцать, сидел на корявом пне и изучал движение жизни обитателей леса. Прежде всего это были птицы: несколько соек, воробьи, синицы и даже один сарыч, но больше всего его интересовали млекопитающие, в частности пара белок, перескакивавших с ветки на ветку. Полтора летних месяца Йон, помимо выполнения ежедневных обязанностей на ферме, прогуливался по окрестным лесам и наблюдал за природой. Максимум слов, произнесенных им за это время, вряд ли превышал сотню. В конце концов, может, взрослые были не так уж и не правы и он, действительно, обладал богатым внутренним миром. Он рыбачил в рукаве реки Слейт-Крик; часами мерил шагами пустоши; утопая руками в сиревом тумане, разрывал пронизанные прожилками листья разных пород деревьев, встречавшихся ему на пути; засовывал палку в норы под корнями в надежде выгнать оттуда гадюку или куницу, а иногда, спрятавшись в папоротниках позади фермы Мэки или Стюартов, следил за передвижениями членов семей фермеров, так как властный характер матери, глупость одной из дочерей и пьянство отца возбуждали его любопытство. Каждый день горизонт, начинавший розоветь, напоминал ему, что надо торопиться, чтобы успеть вернуться к ужину, и Йон с гордостью думал, что вращение небесного колеса, его персональных часов, его космических часов с луной и солнцем вместо стрелок, являются ориентиром, принадлежащим только ему.

В то утро он решил вернуться на поляну, потому что заметил там несколько муравейников, три прекрасных высоких холмика, которые он тщательно оберегал все лето, предвкушая, как разрушит их, чтобы впасть в состояние эйфории. Но он не хотел все испортить, поэтому речь не шла о том, чтобы растоптать первую попавшуюся кучу – конечно, нет! Йон убедился, что чем больший интерес представлял для него выбранный объект, тем подробнее он его изучал, тем ближе «сводил знакомство» со всеми его обитателями и тем большее удовольствие он получал, разрушая его. Существовало странное соотношение между близостью, чтобы не сказать влечением, и наслаждением уничтожать то, что он познал в мельчайших деталях. Истреблять ради истребления – это, в сущности, всего лишь детская реакция. Тогда как здесь с каждым ударом ноги, с каждым комком земли, он действительно *понимал*, что происходило от удара его кулака, сознавал, что творится с крошечными тельцами, со всеми микросуществами, которых он уничтожал, а в конечном счете, со всей той цивилизацией, которую он громил, потому что он их *знал*.

А как с годами узнал Йон, чтобы перейти к действию, необходимо прийти в хорошее расположение духа. Уничтожение без всяких на то причин, даже без особого желания, первого попавшегося холмика, до которого можно дотянуться, не доставляло ему никакого удовольствия, скорее, даже нагоняло скуку. Нет, нужно почувствовать, как в нем поднимается *давление*. А летом оно нарастало не слишком быстро. Оно накапливалось, тонкими слоями, после обидных замечаний деда и теток по мере завершения возложенных на него поручений по хозяйству, выполнять которые заставляли в строго установленное время, чтобы он не болтался без дела. Потом, с течением времени, Йон понял, что давление нарастает само по себе, словно он родился с внутренним краником, который чуть-чуть подтекал, и день за днем его резервуар неустанно наполнялся. Ничто на свете не заставляло давление подниматься быстрее, чем школа. Точнее, его товарищи и его учителя. Иногда хватало только их взглядов, но чаще всего это бывал ответ организма на их отношение к нему, на то нескрываемое раздражение, которое он у них вызывал, на те перешептывания, что начинались при его появлении, словно он какой-то ненормальный. Йон ненавидел их все больше и больше, но так как летом он в

школу не ходил, то давление заметно упало. Разумеется, с Ингмаром и тетками он несколько раз побывал в городе, и тамошняя атмосфера тоже наполняла его резервуар, хотя мальчик и не понимал почему. Наполняла не так быстро, как школа, но быстрее, чем ферма. Наверное, из-за ухмылок и насмешек за его спиной. Никто не любил его, и он это прекрасно понимал. Все смеялись над ним, смеялись постоянно.

Он все лето сдерживал давление, и теперь, когда август шел к концу, он чувствовал, что его резервуар вот-вот взорвется. Время пришло. Не было ощущения внезапного и непредвиденного наводнения, затоплявшего его, как иногда случалось, после особенно тяжких обид, нет, это больше напоминало медленное накопление, воду, которую бобровая плотина сдерживает до тех пор, пока ее не наберется столько, что если вовремя ее не сбросить, она вырвется и снесет все на своем пути.

Проведя несколько дней на поляне в июле, он в последний раз вернулся сюда, чтобы возобновить исследования муравейников перед неминуемым их разрушением. Йон ждал нужного момента, когда он почувствует, как его охватывает возбуждение, что он больше не может сидеть на месте, в голове станет вертеться только одно, и бабочки вновь начнут порхать внизу живота. Вопрос уже измерялся не днями, а часами.

Погрузившись в созерцание беличьих прыжков, он не обратил внимания на фигуры, молча приближавшиеся к нему сзади, и когда под ногами у трех подростков захрустели ветки, удирать было уже поздно. Они окружили его.

– Смотри-ка, а вот и дебил с холма! – воскликнул самый старший.

Йон моментально узнал их. Того, кто произнес эти слова, звали Тайлер, мальчишка, старше его по крайней мере на три года, с взлохмаченными белобрысыми вихрами и взглядом, острым, как бритва Ингмара. Двое других были его прилипалами: один тощий и длинный, Йон его едва знал, а второй Роджер Тронкштейн, слабоумный братец девчонки, учившейся в одном классе с Йоном, которому сестрица Роджера нравилась своей кротостью.

Йон встал с пенька, инстинкт никогда не обманывал его, он всегда остро чувствовал приближение опасности, и все его существо приказывало ему бежать отсюда как можно скорее. Однако Тайлер остановил его, схватив за рубаху на груди.

– Тебя разве дома ничему не научили? Вежливости, например? Что надо здороваться, прощаться?

– Оставь меня, Тайлер, – произнес Йон, глядя высокому блондину прямо в глаза.

– Ты что здесь делаешь? Дрочишь?

Йон покраснел. При одной только мысли, что его могли за этим застукать, щеки и уши мальчика запылали огнем. Для него эти ощущения были совсем новыми, появившимися недавно, и пока еще он не мог жестко контролировать ни их возникновение, ни их конечный результат. Однако он уже понял, что подобные действия являются чем-то очень личным, и ими, как и дефекацией, занимаются вдали от посторонних взоров, хотя сам процесс и начинал ему нравиться все больше, гораздо больше, чем облегчаться в туалете.

Тайлер усмехнулся.

– Ах ты, черт, посмотрите на эту пунцовую рожу! Он и вправду дрочил!

– Нет! Вовсе нет!

Насмешка резко исчезла с лица Тайлера. На место злобной гримасы, при которой его мясистые губы скрывали нижнюю половину лица, пришло выражение более холодное, более жестокое.

– В городе говорят, что ты выродец, а твоя настоящая мать – это одна из твоих теток, это правда?

В этот раз Йон предпочел промолчать.

– Да ты его папашу видел? – выступил стоявший сзади тощий верзила. – Он такой старый, что из его яиц только вонючий песок и сыплется!

– Тогда понятно, почему ты такой идиот, – заржал Тайлер.

Йон сделал шаг в сторону, пытаясь избавиться от державшей его руки. Слова отскакивали от него, он их уже много наслушался, бывало и похлеще, он умел смиряться и не обращать на них внимания.

– Эй, куда это ты направился? – спросил Тайлер, тоже сделав шаг и преградив ему дорогу.

– Я иду домой, оставьте меня в покое.

– Тай, – позвал Роджер. – Мне кажется, я знаю, чем этот debil тут занимался, посмотрите на эти муравейники! Сестра говорила мне, что как-то раз видела, как он разрушил муравейник!

Тайлер изобразил подобие улыбки, выставив напоказ уже пожелтевшие от табака зубы.

– Итак, выродок, значит, самые большие мы оставляем себе? Да если бы у меня была такая тетка, как у тебя, на кой хрен мне нужны были бы муравьи! Как ее зовут?

Йон отвел взгляд, пытаясь отыскать лазейку для бегства.

– У него их две, – вмешался долговязый верзила.

– Хорошенькая – та, что моложе, – уточнил Тайлер. – Эй, как ее зовут?

Подкрепляя свой вопрос, малолетний мучитель хлопнул Йона по плечу.

– Ханна, – скрепя сердце произнес Йон, понимая, что если он не подыграет немного своему противнику, его в покое не оставят.

– Ах да, Ханна!

Первое «а» в имени Тайлер протянул со сладострастным хрипом. Его дружки глупо засмеялись. Йон чувствовал себя все хуже и хуже. Он не понимал, чего добивается Тайлер, ведь он ему у ничего не сделал. Йону стало страшно.

– Вот если бы у меня была такая тетка, я бы каждый вечер перед сном засовывал пальцы ей в киску. А может, и не только пальцы!

Все трое грубо захохотали.

– Я видел, как она голая купалась в пруду за железной дорогой, – смачно проговорил Роджер. – Какие у нее сиськи! Такие розовые, тяжелые!

– Слышишь, debil? – снова заговорил Тайлер. – Уверен, в киске твоей тетки горячее, чем в аду, и она стоит всех муравейников мира!

Эти слова не столько покоробили, сколько заинтересовали Йона. В том, о чем так уверенно говорил Тайлер, было что-то нездоровое, однако странным образом завораживающее.

– С такими сиськами у нее точно огонь в заднице! – хихикнул Роджер.

Йон услышал достаточно. Собрав в кучку всю свою решимость, он оттолкнул руку Тайлера, чтобы пробить себе дорогу.

– Минуточку! – рявкнул долговязый блондин, хватая его за шиворот. – Если ты не хочешь делиться своей теткой, то тебе надо извиниться! Роб, держи этого сукина сына.

Тощий верзила схватил Йона за руку и, ударив его под коленками, заставил плюхнуться на землю. Тайлер расстегнул пояс, а затем ширинку.

– Как ты думаешь, сможешь мне отсосать?

Йон отвернулся. Роб и Роджер замерли в изумлении.

– Тай, ты что? – воскликнул Роб.

– Заткнись и держи его. Ну же, debil, давай, отвечай! Как думаешь, сможешь взять его в рот так же хорошо, как твоя тетка?

На этот раз заговорил Роджер.

– Кончай валять дурака, Тай, а то он, чего доброго, зубами его тебе отхватит.

Но подросток, наслаждаясь своей безнаказанностью, вытащил из трусов свой тонкий бледный член и сунул его в лицо Йона. Тот изогнулся, чтобы оказаться как можно дальше от мерзкого червя, и эта попытка вызвала у Тайлера взрыв смеха.

Горячая тошнотворная струя обрушилась на Йона. Выругавшись, Роб внезапно отпустил его, и мальчик понял, что Тайлер с громким хохотом мочится на него. Стараясь увернуться

от желтой струи, Йон откатился в сторону и врезался в колючий куст, разорвавший ему на плечах рубашку.

Тайлер прекратил гоготать и, спрятав член, направился к поляне.

– Этот говнюк ничем не хочет делиться! Ни теткой, ни ртом, ни игрушками! Так пусть это будет ему наказанием!

И он изо всех сил пнул муравейник, тотчас развалившийся пополам, потом еще один и еще, и принялся по очереди топтать их. Вокруг него кружилась труха от рухнувших муравейников, а испуганные приятели старались на него не смотреть.

В брюшной полости Йона образовался шар. Сам он чувствовал себя грязным, униженным, опущенным ниже плинтуса, по ту сторону человеческой жизни. Но, как ни странно, самым неприятным было зрелище, как другой разрушал *его* муравейники, в которых сосредоточилась вся его радость нынешнего лета. Дав себе волю, Тайлер с воплями швырял грязью в лицо Йона, уничтожая его самолюбие. Но главное, он сокрушал средоточие давления.

По мере того, как на глаза наворачивались слезы, взор Йона затуманивался.

Плотина, выстроившаяся в нем, готовилась прорваться.

5

Небесное колесо вращалось до тех пор, пока не заполнило циферблат горизонта своими темными завитками со звездными узорами. В этот вечер Йон не вернулся домой к ужину, ему было все равно. Ингмар строго отчитает его, может, даже ударит несколько раз ремнем, потому что заставлять всю семью ждать его к ужину означало выказывать неуважение, но Йон был к этому готов. Он умел расставлять приоритеты. Он всегда обладал этим талантом, с самого раннего детства, и когда что-то казалось ему важным, все остальное переставало существовать, он концентрировал весь свой разум на главном, с легкостью абстрагируясь от всего остального, даже когда остальное грозило изрядной трепкой.

Йон сидел на маленьком белом камне, укрывшись за изгородью из лавровых кустов. Сорвав горсть листьев, он разминал их в пальцах и терпеливо вдыхал аромат, разгонявший комаров. Он знал, что ждет не напрасно, потому что лучше всех изучил окрестности и знал, где можно пройти, причем кратчайшим путем. На полной скорости он промчался по перекопанной территории бывшей лесопилки, а затем побежал вдоль железной дороги для грузовых поездов. Рельсы были проложены по перекинутому через реку мосту, узкому, словно трос для канатоходца, и Йон рисковал оказаться зажатым между двумя поездами, неожиданно возникшими над пустотой спереди и сзади. Большинство мальчишек из Карсон Миллса не отваживались пользоваться этим мостом. Избегали опасности упасть на острые скалы, напоминавшие торчащие из воды раскрытые акулы челюсти, омываемые водоворотами Слейт Крик. Но Йон не принадлежал к большинству. Он всегда перебирался через реку по этому мосту, чтобы не делать круг, обходя ее с запада, и ему удалось добежать до своего наблюдательного поста раньше, чем кто-либо сумел его заметить.

Вместе с ночью, поднимавшейся все выше и выше в небо, и луной, продолжавшей лентяйничать где-то под земным ковром, Йон мало что мог видеть, особенно, когда ночь потянула за собой тяжелое тучевое покрывало бездонно-черного цвета. Но он прекрасно слышал шум приближавшихся шагов и шуршание штанин. Пригнувшись, чтобы остаться незамеченным, он, несмотря на сгущавшуюся тьму, узнал силуэт Тайлера: тот возвращался на родительскую ферму.

Блондин прошел мимо Йона, ничего не заметив, и мальчик на цыпочках вышел из своего укрытия. Как ни странно, ладони его оставались сухими, а сердце по-прежнему билось ровно, никаких изменений, кроме легкого волнения, позволявшего ему сохранять полнейшее хладнокровие. И пока, неслышно ступая во мрак, Йон приближался сзади к Тайлеру, он спрашивал себя, не чувствует ли он сейчас то же, что волки, выслеживающие добычу, бесшумно скользя за ней по пятам, сосредоточив взор и постепенно приглушая периферическое зрение, чтобы видеть только цель. Йону казалось, что Тайлер сохранил свой цвет, в то время как все вокруг стало черным и белым. Он почти настиг его. Теперь сердце его забилося чуть быстрее, и бабочки в животе расправили крылья. Суставы пальцев, сжимавшие подобранный в поле несколькими часами ранее железный прут, побелели. Его руки разогнулись, собираясь с силами.

И Йон ударил, целясь под колени. Ударил изо всех сил. Все разочарование, отчаяние, унижение, испытанные им, когда Тайлер уничтожил его муравейники, разом вырвались на свободу в ту самую минуту, когда железо, столкнувшись с плотью, отбросило подростка на землю, лицом в траву. Звук, вырвавшийся из Тайлера от боли, походил не столько на вскрик, сколько на удивленный всхлип. Охваченный паникой, подросток стал поворачиваться, но тут железный прут обрушился на его правую руку, разрывая ее болью до самой скулы. На этот раз Тайлер

заорал, завизжал как свинья, и его ноги забили по воздуху, пытаясь оттолкнуть нападавшего. Но он ничего не видел, а Йон уже зашел с другой стороны, чтобы ударить в бок. Затрещали ребра. От удара другая рука содрогнулась, и пальцы ее неестественно растопырились, повиснув, словно сломанные веточки на конце толстой ветви.

Ботинок Йона опустился на толстые губы Тайлера, раздавив их словно перезрелую мякоть клементина. Маленький фермер продолжал давить до тех пор, пока не услышал скрежет сломанных зубов во рту лежавшего на земле подростка, и убедившись, что Тайлер, не в силах защищаться, жалобно скулит и корчится от боли, уселся сверху ему на грудь и принялся молотить его кулаками по лицу. Острый взгляд хищника рассеялся, теперь Йон мало что видел, все смешалось в едином неистовом бешенстве. Он тяжело дышал, струйка пота, сбегавшая по позвоночнику, намочила нательное белье. Йон хотел изменить лицо Тайлера. Сделать его неузнаваемым. Превратить в мерзкую кашу, на которую никто не захочет взглянуть. Больше Йон ни о чем не думал. Его затопила ярость. Захлестнули клокочущие волны давления.

А Тайлер стал разбухать. Глаза исчезли под разбитыми надбровными дугами, нос наполнился чем-то вязким, скулы раздулись, губы увеличились. Кровавое пюре растеклось до самых ушей.

Он сам виноват в том, что случилось. В том, что его личность постепенно растекалась, виноват он и только он. Он не должен был приходить на поляну сегодня утром. Йон его ни о чем не просил. И уж тем более не просил цепляться к нему. Однако мальчик мог ему все простить, он был готов согласиться с насмешками и струей мочи, ведь он никогда не считал себя ни смельчаком, ни задирой. Он мог замкнуться в себе, смириться и ждать, когда гроза пройдет, оставив на нем свои отметины. «То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее», – постоянно говорила Ханна, и Йону очень нравилась эта мысль.

Но разрушить муравейники означало лишить Йона возможности снять накопившееся напряжение. Да и давление хотелось сбросить. Муравейники – это слишком большая несправедливость.

Йон хрипло дышал, время от времени издавая сладострастные смешки. Он так увлекся, что у него закружилась голова, и он даже не отдавал себе отчет, что каждый раз, когда он снова ударял Тайлера, его собственное тело откликалось на этот жест. Сейчас у него в животе порхали сотни бабочек, кружились в вихре, лаская его изнутри и затопляя божественной негой, которая вскоре выплеснулась из него теплой пеной.

Когда он встал, голова Тайлера напоминала арбуз, сброшенный на асфальт с верхушки колокольни. Он еще дышал, жалобно хрипел, а его скрюченные пальцы конвульсивно подергивались, хотя было ясно, что с ним покончено.

Йон пристально смотрел на него, его собственный подбородок покрывала пена. От возбуждения, произведенного оргазмом вкупе с поистине дьявольской яростью, глаза его блестели. Кулаки горели, и он так напряг все, даже самые малые мышцы своего тела, что ему казалось, что он пробежал весь день без остановки. Он едва стоял, у него подкашивались ноги.

Йон не знал, выживет ли Тайлер, но ему наплевать.

Имело значение только неистовое биение крыльев бабочек, но оно постепенно утихало. Гроза прошла, оставив после себя маленькое существо, изможденное и сверх меры переполненное электричеством.

* * *

На следующее утро на ферму к Петерсенам приехала машина шерифа и целый час простояла возле дома. На ней прибыл не помощник шерифа, обычно совершавший дальние выезды, а сам шериф. Это свидетельствовало о важности события, ибо после того самого «происшествия», случившегося между Ларсом и Ходжсоном, шериф ни разу не посетил Петер-

сенов, несмотря на множество поводов, ибо Ингмар часто выступал зачинщиком потасовок, которыми завершались городские вечеринки, где потребляли слишком много спиртного, а также сеял религиозные распри среди фермеров.

Ингмар из окна высматривал старенький черно-белый шевроле, мелькавший за высаженными в ряд дубами. Он так близко придвинулся к окну, что от его дыхания прозрачное стекло то и дело запотевало, мешая разглядывать пейзаж. Мужчина со впалыми щеками дышал медленно. Ракель, его старшая дочь, вошла в комнату, в которой еще витали запахи завтрака, состоявшего из яичницы с жареным беконом. Она слышала только часть беседы, самый конец, и толком не поняла, зачем приезжал шериф, разве что причиной тому был Йон. Тем не менее она понимала, что дело серьезное, и ожидала увидеть отца, охваченного приступом холодного гнева, что было хуже всего. Но вместо этого она увидела, что отец, на удивление спокойный, стоит, прислонившись к трюмо.

– Чего он хотел?

Отцовский вздох накрыл сад за окном тонкой пеленой тумана, призрачного, словно ночная бабочка.

– Сказать мне, что Йон зашел слишком далеко.

– Что он сделал?

– Подрался с маленьким Клоусоном. Он отправил его в больницу.

– Тайлера? Йон? Да он же в три раза меньше этой скотины! Как ему это удалось?

– Мальчик изуродован, кости переломаны. Он проведет в больнице не одну неделю, прежде чем его оттуда выпустят. Шериф конфисковал у Эда ружье, боялся, что тот явится к нам и начнет стрелять.

В растерянности Ракель прикрыла рот руками.

– Все так серьезно? Но что на него нашло? И шериф хочет упечь нашего Йона?

– Нет. У него есть дела поважнее, и он уговорил Клоусонов. Они не станут подавать жалобу, если мы оплатим все расходы. Придется истратить целое состояние, а у них нет денег.

– Так что же нам делать?

– Платить.

– Но...

– Это внесено в протокол, – жестко произнес Ингмар, не покидая свой наблюдательный пост. – Не обсуждается.

Ракель не могла опомниться. Как их слабенький Йон смог отделать Тайлера? И что пробудило в нем такой сильный приступ ненависти? Она села на табурет, облокотившись на старую дровяную печь в гостиной. В голове вертелось множество вопросов. Как там Йон? Что будут говорить люди в городе? Чем они станут платить? Но больше всего ее удивляла очевидная беспечность отца. В дальнейшем такой настрой не предвещал ничего хорошего. Самая сильная ярость та, что не дает о себе знать, особенно когда речь идет об Ингмаре Петерсене.

– Прежде чем упрекать Йона, тебе следовало бы спросить у него, почему он это сделал. Возможно, у него имелась веская причина...

– Ракель, Йон не просто расквасил нос другому подростку, он полностью разбил ему лицо. Возможно, мальчик останется обезображенным на всю жизнь, а о том, что стало с остальным его телом, я тебе просто не говорю.

Запустив руку в волосы, уже пронизанные сединой, хотя ей недавно исполнилось всего тридцать, Ракель намотала несколько прядей на указательный палец, что делала всегда, когда у нее разыгрывались нервы. Она не понимала безмятежного настроения отца, это так на него не похоже, и вместо того, чтобы успокоиться, она чувствовала, как ее охватывает страх. Она опасалась худшего.

– Папа, тебе лучше немного подождать, прежде чем идти к Йону, обдумать то, что случилось, – проговорила она.

Оторвавшись от зрелища за окном, Ингмар смерил взглядом дочь.

– Не беспокойся, я не намерен его убивать.

И в самом деле, он говорил расслабленно, не сквозь зубы, как обычно делал, когда усиленно пытался взять себя в руки. Напротив, он казался вполне спокойным.

– Так ты действительно не рассердился? – едва слышно спросила она.

– Нет.

На этот раз Ракель показалось, что она видит сон, ей потребовалось переспросить еще раз, чтобы убедиться, что она все правильно поняла.

Ингмар поджал губы, и взгляд его упал на грязный и неровный пол гостиной.

– Ты считаешь, что я слишком строг с ним? Скажи мне откровенно.

Ракель прекратила наматывать волосы на палец и выпрямилась, заинтересованная и сбивая с толку.

– Ну... Нет, не думаю. Не строже, чем был с нами. А Йон иногда становится *трудным*. Ты его никогда не наказываешь зря.

Фермер согласно кивнул, его взгляд терялся в пустоте.

– Мальчик трудный, – произнес он, – и был таким с самого раннего детства. И, я уверен, не моя строгость испортила его. В нем сидит гнилой корень. Я это чувствую. Знаю.

– Йон не похож на нас, но нельзя сказать, что он безнадежно испорченный.

– То, что он вчера сделал с Тайлером Клоусоном, обойдется нам очень дорого, но, возможно, все даже к лучшему. Когда в мальчишке возраста Йона столько ярости, столько плохого, иногда лучше, чтобы все это вышло из него тем или иным образом. Иначе одному богу известно, чем все может кончиться, во что он со временем превратится. Ему надо от этого избавиться. В Йоне есть много такого, чего я не понимаю, и сомневаюсь, чтобы он сам когда-нибудь смог в этом по-настоящему разобраться. Но я точно знаю, что ему необходимо выразить свои чувства. По-своему.

– Устраивая драки? Избивая до полусмерти мальчишку на три года его старше?

Ингмар пожал плечами.

– Злу требуются живые сосуды, чтобы оно могло распространяться, – произнес он, – и я уверен, что наш Йон один из них. Он избран. Я молюсь, чтобы лукавый покинул нашего мальчика в то самое время, когда насилие истекает из его души.

Стоя за дверью, мальчик все слышал. Но это его не интересовало. Он не сводил глаз с того, что происходило снаружи, позади фермы. Со вчерашнего дня у него в голове крутился один вопрос, который он никак не мог оттуда изгнать. Сначала он неустанно звучал с интонациями Тайлера, но когда Йон проснулся, вопрос зазвучал уже его собственным голосом.

Йон наблюдал, как Ханна, стоя на коленях, собирала в огороде овощи. И он спрашивал себя, действительно ли в ее киске жарче, чем в аду.

6

В семействе Петерсенов красоту никогда особенно не ценили. Более того, она, в сущности, расценивалась как нечто подозрительное, как источник конфликтов, неприятностей, и никто даже не пытался приукрасить себя, ибо это потеря времени, денег и источник тщеславия, способный вызвать только неудовольствие Господа. Никто, кроме Ханны.

Девушка практически не знала матери, сохранив о ней лишь смутные воспоминания, состоящие из взглядов, размытого и отстраненного присутствия. Ханна не знала наверняка, была ли мать красива, но предполагала это, сопоставляя редкие высказывания о ней отца, и девушка тоже мечтала стать красавицей. С другой стороны, она видела, как ее сестра Ракель, старше ее на тринадцать лет, неуклонно занимая место ушедшей из жизни хозяйки дома, постепенно забывала о себе. Вваленный на плечи груз настолько придавил ее, что в усеянном точками зеркале в ванной она больше не узнавала собственное отражение. Работа окончательно убила ее изначально не слишком соблазнительное тело, руки настоящей фермерши потрескались, покраснели, им грозила боль начинавшегося артроза, спина сгорбилась, волосы напоминали паклю, а лицо избороздили глубокие морщины. Ханна не хотела стать такой, как сестра, но не могла никому в этом признаться, потому что это не по-христиански. Ракель, так много сделавшая для семьи, должна не внушать жалость, а, напротив, вызывать восхищение. Однако Ханна, которой скоро исполнился двадцать один год, мечтала совсем о другом. Она родилась красивой, и до сих пор жизнь на ферме нисколько не повредила ее красоте. Ханна научилась ею пользоваться, сначала в школе, а затем в городе, ловя направленные на нее взоры мужчин. Она нравилась, и это не оставляло ее равнодушной. Ракель уже превратилась в старую деву, но ее младшая сестра не собиралась провести остаток дней под крышей отцовского дома. Особенно теперь, когда Йон подрос, ему исполнилось пятнадцать, и каждый занял свое место. Так, всякий раз, когда речь шла о том, чтобы пойти за покупками в город, Ханна охотно вызывалась исполнить поручение, она также вызывалась, когда требовалось заполнить официальные бумаги или продать излишки овощей с огорода. Она пользовалась любым предлогом, чтобы пообщаться с миром, выйти в люди, показать себя и посмотреть на других.

С недавнего времени к длинному списку причин добавилась еще одна: работа. Фред Таннер, хозяин маленького ресторанчика на задворках кинотеатра, предложил ей место официантки. На работе Фред любил окружать себя хорошенькими девушками, он знал, что клиентам это нравится, а Ханна с ее родинкой над верхней губой, большими карими глазами с пушистыми ресницами и длинными вьющимися каштановыми волосами не оставляла равнодушными многих лиц мужского пола, и не только самых юных. Вначале Ингмар отверг саму идею: идти работать в какую-то *забегаловку*, да еще по вечерам, недостойно серьезной девушки-лютеранки, тем более из почтенной семьи Петерсенов. Но дела на ферме шли не слишком успешно, а заработная плата оказалась настолько хорошей, что он привередничал не слишком долго. Регулярное поступление денег заставило Ингмара отступить, однако его суровые наставления дочери становились все длиннее.

На протяжении трех месяцев она работала в ресторане три вечера в неделю, а потом ей предложили выходить на работу еще и субботними вечерами. По крайней мере, такова была официальная версия. На самом деле Ханна познакомилась с молодым человеком по имени Томас Дикенер и влюбилась в него. Пользуясь успехом у клиентов, Ханна из полученных на неделю щедрых чаевых сколачивала небольшую дополнительную зарплату и отдавала ее отцу. Ей не составило труда заметить, что стоит ей надеть блузку с глубоким вырезом, как чаевых становится больше, и она начала оставлять эту прибавку себе, чтобы в субботу вечером идти

гулять с Томасом, хотя платил чаще всего он. Дополнительный приработок позволял ей хотя бы втихаря покупать новую одежду и прятать ее в гардеробе *забегаловки*, вместе с блузками с вырезом, которые бы точно не понравились Ингмару Петерсену. Отправляясь на работу в субботу вечером, Ханна покидала ферму, не боясь, что ее уличат во лжи, ибо никто из семьи не выходил по вечерам в город. Даже Ингмар, раньше имевший привычку пропустить несколько стаканчиков за бильярдом, с некоторого времени перестал покидать дом. С возрастом он все больше замыкался в себе, и Ханна считала, что это очень хорошо, хотя и стыдилась таких мыслей. Но она ни минуты не сомневалась, что если бы отец встретил ее в субботу, он бы до конца дней запер ее в шкафу своей спальни.

В тот день Ханна вошла в заднюю дверь рестораника и принялась исследовать содержимое своего шкафчика в раздевалке. В нем хранилась одежда из фланели, муслина, шелка и цветного льна. Внизу кучей лежало несколько пар обуви на каблуке, и Ханне пришлось придержать их ногой, чтобы они не вывалились на пол, когда она открывала металлическую дверцу. Поколебавшись, она остановила свой выбор на маленьком синем платье с красными цветами, дабы в полной мере насладиться сладостью вечера в конце мая. В платье такого покроя она себе ужасно нравилась и знала, что Томас вожделеющим взором непременно уставится на ее грудь, выгодно подчеркнутую этим фасоном.

Талита, высокая белокурая официантка, которую Ханна считала своей подругой, вышла из туалета, оправляя передник.

– Ханна и ее волшебная гардеробная! – шутливо бросила она, глядя на себя в зеркало над раковиной в раздевалке. – Ты встречаешься с ним сегодня вечером?

– Он ведет меня в кино.

– А, в кино... Отличная прелюдия к совокуплению!

– Что ты сказала? – переспросила Ханна, притворившись удивленной.

– Да не смотри ты на меня так, все знают, что происходит в темном кинозале. Одна рука там, другая здесь... А на тебе вдобавок еще и платье! Но ты права, так гораздо практичнее.

– Тали, но Томас не из таких парней.

– Он из *таких* парней. Или же он совсем другой. Вы еще этим не занимались?

– Ты о чем? Хочешь сказать...

– Он еще не вскрыл тебя?

Тут Ханна почувствовала, как краска на самом деле заливает ей щеки.

– Нет.

– Он будет у тебя первым?

– Да, – стыдливо призналась девушка.

– Не останавливайся в начале пути. Вот увидишь, секс – это как сигарета, сначала противно, а потом уже не можешь без него обойтись.

Ханна никак не могла решиться довериться тому чувству, которое она питала к Томасу. Она стеснялась. У нее еще сохранялись остатки романтической сентиментальности, в ее возрасте казавшиеся уже смешными, и хотя она это знала, ей очень хотелось, чтобы молодой человек оказался исключительно порядочным. Она не хотела отдаваться по глупости, предпочитала быть уверенной. Оберегая свою девственность, словно маленькую бесценную шкатулку, она не намеревалась все разрушить при первом же смятии чувств. Однако Ханна чувствовала, что ее отношения с Томасом не мимолетная интрижка. Возможно, именно он и есть порядочный. *Точно, это он.*

Талита, поправляя волосы, заметила в зеркале озабоченный вид приятельницы и, отложив расческу, повернулась к ней.

– Ты его любишь? – спросила она.

– Да.

– Так же, как молочный коктейль с клубникой и сливками у Фреда?

– Тали!

– Так же?

– Это несравнимо!

– Ты за него готова душу продать. Ты будешь пить его даже в постели, полной тараканов, если тебе его поднесут! Ну? Так же, как молочный коктейль с клубникой и сливками?

– Гораздо больше.

– Тогда вперед. Подари ему свою первую кровь.

Ханна улыбнулась.

– А ты так на это решилась? Сравнив с твоим любимым блюдом?

– Нет, я хотела найти чувака, которого бы мой отец точно возненавидел, и отдала ему всю себя.

– Стивен?

Талита вскинула брови и покачала головой, словно говоря, что ее подружка попала пальцем в небо.

– Что ты, все случилось гораздо раньше. Его звали Спайдер.

Ханна фыркнула.

– Какое же это имя!

– Разумеется, это не имя, поэтому я и не вышла за него. Его так прозвали, думаю, из-за его тачки². Но я не могу его забыть, потому что в его драндулете мы это и сделали.

– В машине? А как же романтика?

– А ты что, сможешь заняться этим у себя дома, когда за стенкой храпит твой старик?

Ханна пожала плечами.

– Нет, конечно, нет.

– Поверь мне, это лучше, чем жалкая комнатуха в придорожном мотеле. Короче говоря, у Спайдера имелся отличный автомобиль, но это единственная вещь, которой он мог распоряжаться. Здоровенная тачка, немножко похоти. Надеюсь, твой парень все обставит лучше. Что у него за тачка?

– Старый раздолбанный шевроле.

– О-о! Тогда, милочка, ты получишь массу удовольствия. Я тебя люблю.

И лукаво подмигнув Ханне, Талита направилась в сторону зала. Дойдя до конца раздевалки, она повернулась к девушке.

– Ты познакомишь его с семьей?

– Нет.

– Тебе придется это сделать. Если ты его по-настоящему любишь, они, в конце концов, все узнают, а история любви, начавшаяся с семейной вражды, никогда хорошо не кончается, поверь моему опыту.

Глядя вслед подруге, Ханна вздохнула. Проблема заключалась именно в этом. Ингмар никогда не примет Томаса. Для него сама мысль о том, что когда-нибудь младшая дочь покинет ферму ради другого мужчины, изначально казалась неудобоваримой, а после случая с единственным сыном Ларсом он ни за что не потерпит, чтобы она вышла замуж за еврея. Его маленькой Ханне достоин только добропорядочный лютеранин. Ссоры, то и дело вспыхивавшие между лютеранами и методистами, выводили из себя, но они, по крайней мере, затрагивали отношения протестантов между собой. Ввести же в семью еврея приравнивалось к объявлению войны, ни больше ни меньше. Смешать кровь, почему бы и нет, перемешать национальности или, на худой конец, общественные классы, но только не религии. К Богу ведет только одна дорога.

² Спайдер (*spider*, англ. – «паук») – тип спортивно-гоночного автомобиля (*прим. пер.*).

В черной тканевой куртке с рукавами из белой кожи Томас ждал ее возле кинотеатра, волосы его блестели от помады. Завидев Ханну, переходившую через дорогу, он явно обрадовался: глаза его широко раскрылись, щеки покраснели, словно освещая его изнутри, а улыбка выплеснула всю радость мира. Он преподнес ей коротко срезанную розу с упрятанной в нее булавкой, чтобы приколоть цветок на бретельку ее платья. Довольно неуклюжий, он натужно смеялся, однако умел заботиться о ней: оплачивал ее билет, держал дверь, чтобы она могла пройти первой, покупал ей попкорн, и всегда ждал, когда она сядет на откидное кресло, и только потом садился сам. Во время рекламы они обычно болтали ни о чем, касаясь друг друга локтями и коленями, а когда начинался фильм, Томас робко клал свою руку на руку Ханны, и та тотчас сплетала его пальцы со своими.

Когда сеанс окончился и они вышли на улицу, Ханна все еще находилась под впечатлением от увиденного в фильме Нью-Йорка. От его домов и уходящих вдаль проспектов, от его динамики, современного характера и от людей, завоевывавших его: сверкающий Нью-Йорк кишел возможностями. Если будущее в Карсон Миллсе представлялось единственной развилкой, от которой отходило десятка два дорог, будущее в Нью-Йорке являло собой настоящий лес ответвлений, предлагавших тысячи возможных вариантов для каждого момента бытия.

– Когда-нибудь я хочу уехать в Нью-Йорк, – призналась она, и в голосе ее звучала уверенность, что ее жизнь должна проходить именно там.

Томас не нашел, что возразить. В таком большом городе всегда можно найти работу, а если этот переезд составит ее счастье, тогда он оплатит им автобус или даже поезд до Нью-Йорка. Он говорил с такой непосредственностью, так искренне, не отделяя себя от нее, что Ханна поняла: это он, порядочный.

У Фреда они купили молочный коктейль с клубникой и взбитыми сливками и выпили его из одного стакана (чего Ханна никогда ни с кем не делала), и прежде чем сесть в машину Томаса, прогулялись в парке Независимости. Обычно он довозил ее до места, где дорога пересекалась с тропинкой, ведущей на ферму Петерсенов. Чтобы их не заметил старый Ингмар, Томас ставил машину в начале аллеи, под первым же раскидистым дубом, и гасил фары. Сегодня по радио в машине звучал отрывок из «Книги любви» в исполнении группы «Монотонс», и Ханна восприняла это как знак. Когда Томас повернулся к ней, чтобы поцеловать ее, она заскользила по сиденью и крепко к нему прижалась. Из робкого поцелуя их объятия превратились в порыв страсти. Язык Томаса имел вкус молочного коктейля с клубникой и взбитыми сливками, отчего чувства, обуревавшие Ханну, вспыхнули еще сильнее. Когда же он робко положил свою потную ладонь ей на грудь, по рукам и бедрам у нее побежали мурашки, между ног разлилось приятное тепло, а внизу живота заплясал искрящийся шар. С бьющимся сердцем Ханна стремилась прижаться к Томасу, полностью, целиком, чтобы ни одна клеточка ее тела от него не ускользнула, чтобы они соединились, слились воедино, но не кожей, а плотью, всеми органами, вплоть до души. Она хотела пить его мысли, дышать тем же воздухом, что и он, стать одной с ним крови, единым целым. Рука Томаса проникла под платье, в лифчик, и его обжигающие пальцы, ласкавшие затвердевшие соски Ханны, вызвали прилив еще большего желания. Их языки работали как океанский прибой, неутомимо закручиваясь, взбивая пену их торопливой любви. Под действием сексуального тяготения рука Томаса постепенно коснулась края вышитых трусиков Ханны, но когда молодой человек обнаружил, что может перейти Рубикон и ему не окажут сопротивления, все его существо затрепетало. Они стояли там. На пороге мира. Перед ними матрица всех человеческих историй, квинтэссенция мотиваций, надежд, побед и поражений. Они почти готовы писать историю, свою историю, единым порывом, единым желанием, единой гармонией, которая навсегда запечатлела бы это мгновение в мраморе их жизни, плотский акт как знамение времени, чтобы отлить в нем яркое чувство, умопомрачительный аромат, восхитительное ощущение, неведомое прежде лицо, неза-

бываемые вздохи и, в конечном счете, вспышка. Импульс, который осуществит переход во взрослый возраст. Первый из длинной череды, что завершится, возможно, только со смертью.

А потом все изменилось. Томас оказался нерешительным, неспособным к нужному действию, его зрачки расширились от ужаса и восхищения одновременно, а сам он сосредоточился на собственных ощущениях. Ханна заметила эту перемену, и магия исчезла, эйфория прошла, и девушка высвободилась из его объятий. Они смущенно переглядывались, Томас был весь красный, и девушка поняла, что его тело предало ее. По мере того, как сексуальное напряжение, возникшее в автомобиле, исчезало, она понимала, что ничего страшного не произошло, что они прошли еще одну ступень, и, возможно, так даже лучше. Даже в эту минуту нерешительности она любила его. И была готова принять его целиком. Со всем, чем он гордился и чего стыдился. Она нежно поцеловала его в щеку, а он пообещал прийти в *забегаловку* вечером во вторник, чтобы повидаться с ней.

Глядя, как тают во мраке фары его автомобиля, она чувствовала, что ей уже его не хватает. Где-то в невидимой верхушке дуба сова учила своего птенца кричать, и Ханне это показалось очень трогательным. Она была счастлива.

7

Йон изготавливал карамельки из насекомых. В те часы, когда сон не шел к нему, создание карамелек стало одним из его основных занятий. Он выскакивал из теплой постели, быстро одевался, чаще всего в рабочий джинсовый комбинезон, вылезал из окна своей комнаты и шел гулять по полям вокруг фермы, сопровождаемый тревожным взором луны. Одной из его славных находок стала охота на ночных бабочек: он зажигал свечу, и когда бабочки слетались на ее свет, ловил их, а потом, держа пальцами за крылышки, совал в огонь. Извиваясь и корчась в конвульсиях, насекомые сгорали, источая вкусный карамельный запах, и Йон обожал эти минуты кулинарной жестокости, принадлежавшие только ему. Он видел в них насмешку над миром: слепо следуя за светом, в конце концов очутишься в беспросветном мраке.

Еще одним из его изобретений стало окропление космоса. Когда ему исполнилось пятнадцать, Йон стремительно вытянулся на тридцать сантиметров, по-прежнему оставаясь сухощавым, без капли жира на теле, похоже, состоявшем исключительно из нервов и придававшим ему вид молодого взрослого мужчины. Сексуальная энергия, пробудившаяся в нем, будоражила его и, что хуже, превращалось в одержимость. Она часто мешала ему заснуть, особенно когда ночи были теплыми. У него возникала потребность в движении, и он шел, дыша полной грудью, а когда больше не мог сдерживаться, расстегивал застёжку комбинезона и вытаскивал свою «штуковину», чтобы пронзить мир своей набухшей горячей плотью. Он смотрел на звезды, наполняя легкие запахами лаванды и движущихся соков, и наслаждался счастьем без пределов и границ, в том числе физических. Он совокуплялся с пустотой, разбрызгивал себя в бесконечность, оплодотворяя свои самые мрачные мысли. Он окроплял космос, воображая, что целует в задницу сам ад, где, источая карамельный аромат и истекая желанием, пылали киски, с присвистом исторгая его имя. С тех пор, как Тайлер Клоусон вбил в его голову мысль о той, с кем Йон жил под одной крышей, она стала для него идеалом, он мечтал о ее полной округлой груди, о ее киске, где тлели адские головешки, о ее плавных изгибах. Не в силах сдержаться, он шпионил за девушкой по вечерам, когда та раздевалась, зачастую забывая плотно прикрыть дверь к себе в комнату, особенно после того, как он сам погнул одну дверную петлю, – словом, он вожделем свою тетку Ханну.

В тот вечер он долго шел просто так, чтобы изнурить себя, пока, наконец, не понял, что настал один из тех моментов, когда усталость уже не играет никакой роли, полностью заглушенная внутренними импульсами. Йону требовалось упиваться наслаждением. Это почти превратилось в некий ритуал, в начале которого он зажигал свечу и превращал в карамель насекомых, пролетавших в пределах его досягаемости. Далее, когда возбуждение достигало своего предела, все происходило в привычном ритме. И он уже сжег заживо дюжину бабочек, гусеницу, жука-навозника и даже стрекозу, что сидела на листке, когда заметил на дороге свет фар. Из осторожности он загасил пламя и скрючился за высокими зарослями ежевики, ягоды которой Йон уже не ел, потому что от них у него начинался жуткий понос.

Только после долгого наблюдения, когда машина остановилась в нескольких десятках метров от него, Йон осмелился приблизиться к ней, понимая, что раз она стоит, значит, на ферму не поедет. Спрятавшись за дубом, он решил, что отсюда все прекрасно увидит. В салоне включился свет, и он узнал лицо Ханны. Она целовалась с каким-то типом, которого Йон никогда не видел, а судя по тому, как они прижимались друг к другу, его тетка, можно сказать, была большой его поклонницей. Йон нахмурился. Он видел, как блестели их языки, высунувшиеся из губ и слившиеся друг с другом, как сверкали брызги слюны, отражая, подобно кусочкам зеркала, их слепую страсть, как танцевали их сладострастные руки, скользя по одежде в поис-

ках лазеек. Отыскав одну, парень внедрил в вырез платья, и паук из отвратительных пальцев проник туда, чтобы накрыть горячую грудь своим мягким телом.

Разинув рот, Йон смотрел во все глаза, зрелище так заворожило его, что он не решался даже моргнуть, опасаясь пропустить хотя бы мгновение. Его тетка изгибалась, чтобы потереться о водителя, самозабвенно внимая зову грязного разврата, прижимала его к себе, и Йону показалось, что он слышит ее стоны. Тайлер оказался прав. *Киска, горячее, чем адское пламя. Настоящая шлюха.*

Йон ощутил, как давление в промежности стало нестерпимым и он вот-вот взорвется. Там все кипело, в то время как промозглый воздух заползал в живот, а оттуда поднимался в голову. Слепящая красная субстанция, дурманящая мгла, проникавшая в мозг, в самые ничтожные мысли, опошляла разум и душила нравственность до тех пор, пока в висках у него не начал пульсировать назойливый, сводящий с ума ритм. В ночи зрачки его замерли, засветились порочным пурпурным сиянием, челюсти перекачивались под его впалыми щеками. Йон часто дышал носом, судорожно впиваясь руками в бугор между бедер.

Когда тетка его, наконец, вышла из машины, Йон был разочарован, что спектакль окончен. От разочарования у него даже голова закружилась. Охваченный вождением, он больше ни о чем не думал. Он ждал продолжения, но та лишь махала рукой вслед удалявшемуся автомобилю. Когда она повернулась, на лице ее играла блаженная улыбка.

Йон пытался соображать, но у него по-прежнему не получалось, он не знал, что делать, ослепленный пурпурной субстанцией, приливавшей из недр к его до боли напряженному члену. Когда Ханна пошла по тропинке по направлению к ферме, он перестал терзаться вопросами и, выскочив из укрытия, догнал ее. Прижавшись к стволу, чтобы не упасть, девушка приглушенно вскрикнула и, наконец, узнала Йона, хотя он не понял, принесло ли ей это облегчение или же, наоборот, напугало. Она пробормотала нечто невразумительное, то ли чтобы узнать, что он здесь делал, то ли убедиться, что он ничего не видел, но в ответ Йон только качал головой.

– Ингмар запрет тебя в комнате и не выпустит до тридцати лет, – холодно произнес он. – Ты больше никогда не увидишь своего парня и никогда в жизни не выйдешь на работу.

В одно мгновение от слащавой любовной эйфории Ханна вернулась к суровой действительности низменных инстинктов. Оцепенев от шока, она в ужасе замотала головой, возможно, думая о своем чувстве к Томасу и мечтая о будущем, возможно, даже о Нью-Йорке, таявшим под яростным взглядом Ингмара Петерсена.

– Не говори ему ничего! – взмолилась она. – Ты же не обязан! Это будет наш секрет!

Она пыталась поймать взгляд Йона, чтобы умолять пощадить ее, но он уставился ниже, на ее груди.

– Твоя жизнь загублена, Ханна, прощай, тот кретин, прощай, город по вечерам, прощай, ресторан, прощай, разврат.

– Нет! Йон, умоляю тебя, не говори ничего!

– Я буду чувствовать себя не в своей тарелке. Почему я должен молчать?

– Но... ради... ради меня. Из сострадания.

– А что мне за это будет?

Ханна растерялась.

– Ну... моя признательность...

– И что она мне даст? Нет, ты пропала, у тебя все пропало!

– Я заплачу тебе! Дам тебе денег за твое молчание.

– Деньги мне не нужны.

Со слезами на глазах она упала перед племянником на колени.

– Пожалуйста! Не говори ничего! Я сделаю все, что ты хочешь!

Лицо Йона озарилось, и он прижал указательный палец к губам. В его разгоряченном взоре читалась такая непреклонная решимость, какой Ханна никогда у него не видела, и она тотчас пожалела, что пыталась воззвать к его состраданию. А он обошел ее и встал у нее за спиной. Резким движением он толкнул ее вперед, и она упала на четвереньки прямо в траву. Мальчик взял в руки подол ее платья и принялся медленно задира́ть его. Ханна возмущенно запротестовала и попыталась повернуться, но Йон ударил ее кулаком в поясницу, и она замерла от страха.

– Сейчас ты заткнешься, – холодно приказал он, – и я тоже буду молчать. Твое будущее, Ханна, сейчас здесь и зависит от тебя.

Когда он снова начал ее ласкать, она попыталась защищаться, рычала, плакала, размахивала руками, как бешеная кошка, и чтобы прекратить ее сопротивление, Йон так сильно ударил ее ногой в бок, что у нее перехватило дыхание. Испуганный, отчаянный взгляд девушки блуждал в темноте, словно она никак не могла поверить, что мир может быть так жесток. Ошеломленная, охваченная ужасом и болью, она больше не сопротивлялась.

Он толкнул ее глубже в заросли и задрал платье, на этот раз без всякой нежности. В его движениях не было ничего, кроме жадности обладания. И нечеловеческой холодности.

Ханна сдавленно вскрикнула, и Йон не мог не вспомнить слова, которые она так часто повторяла: *Все, что тебя не убивает, делает тебя сильнее, поэтому заткнись!* Ей было больно, и от этого член Йона распухал еще больше, он чувствовал нечто подобное тому, что испытывал, когда разрушал муравейники. Ощущение власти, полного контроля. Он властвовал над ней, и это нравилось ему больше всего. А когда он заметил, что она немного замазала его кровью, что его член обладал властью пронзять насквозь, взламывать, словно опустошающий меч, Йон взорвался во влажную серу «дьявольского зада» его тетки, как он назвал это отверстие. Все давление своего короткого существования он сбросил в единый миг несколькими толчками бедер, избыв все накопленное разочарование, ненависть и ярость. Вся грязь, что находилась в нем, всосалась в тот слив для дерьма, каким являлась киска Ханна.

В этот вечер Йон понял, для чего нужны женщины, а также узнал, что сперма является материей мерзости, воплощением отрицательных стремлений мужчин.

Когда он вышел из Ханна, он еще долго рассматривал ее гениталии. Хотя они были измазаны кровью, он находил их красивыми. Они напомнили ему цветок, только он никак не мог понять какой. Наконец он бросил ей трусики, которые сорвал с нее, и отошел в угол помочиться, пока она, все еще в состоянии шока, одевалась, сдавленно рыдая.

Йону казалось, что он весь трепещет. Это было прекрасно. Теперь он представлял собой одну гигантскую пору, открытую навстречу миру, он освободился, отмылся от всех своих грехов, от всех припадков гнева. Сердце его билось часто, однако мозг работал уже медленнее.

Они молча вернулись домой. Прижимая руки к животу, Ханна отправилась спать, а когда утром проснулась, то ощутила сильное жжение между ног и поняла, что это не был ночной кошмар. Она открыла дверь и увидела воткнутый в ручку свежесорванный цветок.

Яркий красный мак.

8

Хмурым октябрьским утром Ханна ускользнула вместе с чемоданом, оставив родным вместо записки пучок увядших маков. Она сумела уговорить Томаса увезти ее в Нью-Йорк, и свой день рождения Ингмару пришлось отмечать без любимой дочери. Через три недели она позвонила, чтобы успокоить отца и сказать ему, что она живет в Куинсе, и когда ветер дует с юга, разгоняя тучи над горизонтом, из ее окна виден кусочек океана. Океан – это настоящая вечность, запечатленная на картинах, сказала она с улыбкой в голосе. Ингмар слушал ее, не перебивая. Выслушал ее рассказ о любви к Томасу, еврею, за которого она намеревалась выйти замуж, о настоящей необходимости уехать подальше от Карсон Миллса, о желании попасть в большой город, истинную цитадель цивилизации, чтобы реализовать себя. В заключение она сообщила, что не вернется. Закончив свою речь, она стала ждать ответа Ингмара, но тот, не сказав ни слова, аккуратно нажал на рычаг, а потом наклонился и оторвал провод телефонной трубки. Тогда старик в последний раз слышал свою младшую дочь, хотя в дальнейшем он подозревал, что Ракель время от времени получает от нее весточки.

Первые хлопья снега выпали в День поминовения усопших³. С присущим им изяществом они падали медленно, несмотря на свой объем, и, будучи первыми, тотчас оказались поглощенными землей, подготавливая почву, чтобы принять то, что вскоре обрушится с неба и за несколько дней накроет всю долину сероватым саваном.

Этим утром старый бакелитовый телефонный аппарат Джарвиса Джефферсона звонил долго, и его пронзительное дребезжание раздавалось по всему дому, пока Эмма, жена Джефферсона, укрывавшая розы джутовой тканью, не услышала его и не взяла трубку. Затем она отправилась искать Джарвиса и нашла его в подвале: он полировал кресло-качалку.

– Ты что, оглох? – крикнула жена. – Телефон звонит, не переставая.

– Но я же знал, Роза, что в конце концов ты подойдешь.

Только Джарвис называл ее вторым именем. Принимая во внимание ее страсть к цветам, он всегда полагал, что оно идет ей больше, чем Эмма. Роза звучало более благородно, более округло.

– Я укрывала розы, а ты заставил меня подняться и наследить на лестнице!

– Каждый год одно и то же, ты ждешь до последнего, чтобы начать укрывать свои чертовы кусты. Надеюсь, ты не станешь утверждать, что именно из-за меня ты за всю осень ни разу не смогла заняться ими?

– Я уже говорила тебе: если я укрою их слишком рано, они могут начать гнить от жары. Ладно, там тебя Дуг спрашивает, ты ему ответишь или нет?

На этот раз Джарвис выпрямился, отставив в сторону свое любимое кресло, и посмотрел на жену.

– Дуглас? А чего он хочет?

Дуглас был его главным и самым компетентным помощником, и, в отличие от Беннета, который был лишь ассистентом, Дуглас мог разрулить практически любую ситуацию. И если он звонил в выходной день, значит, проблема действительно серьезная.

– Он только сказал мне, что хочет говорить с тобой. Послать его подальше?

– Нет, нет, я сейчас возьму трубку, – ответил Джарвис, кладя шлифовальную шкурку на верстак.

³ День поминовения усопших отмечается 2 ноября (прим. пер.).

Эмма смотрела, как ее муж с озабоченным видом двинулся к телефону, и, видя, как его шея при ходьбе отклоняется далеко вперед, пришла к выводу, что он решительно постарел с тех пор, как их старший сын уехал в Денвер, где намеревался открыть свой гараж. Джарвису уже стукнуло пятьдесят, его волосы, некогда черные, начали седеть, равно как и густые усы, а купероз⁴ на крыльях носа распространился до самых скул. Вот уже двадцать лет, как он являлся шерифом Карсон Миллса, и бесполезно уговаривать его остановиться и немного отдохнуть: он считал работу шерифа своего рода обязанностью, миссией, которую ему доверили. Он знал Карсон Миллс и его жителей с тех самых пор, как родился здесь, и приглядывать за их спокойствием было для него скорее неотвратимостью судьбы, нежели обычным человеческим выбором.

Стуча подошвами ковбойских сапог по деревянным ступеням, Джарвис поднялся по лестнице из погреба, и Эмма едва успела вылить недопитую бутылку «Лаки Лагер» в раковину и погасить свет, как, поднявшись вслед за мужем, увидела, что тот уже повесил трубку и натягивал твидовую куртку с потертыми локтями.

– Уходишь?

– Это дочь Мэки, – мрачно ответил он. – Рой говорит, что ее изнасиловали.

– О господи.

– Дуг уже на месте, я еду к нему. Девочка отказывается от осмотра врача.

– Они знают, кто это сделал?

– Она молчит.

– Подожди, тебе нельзя идти в одной лишь куртке, там же снег!

Эмма вытащила из шкафа под лестницей дубленку и протянула ее мужу, а затем исчезла на кухне. Оттуда она вернулась с изрядно помятой жестяной коробкой, куда успела закинуть бутылку пива и сэндвич, завернутый в пищевую пленку.

– Держи, ты наверняка пробудешь там до вечера, а так по крайней мере сможешь перекусить где-нибудь.

Джарвис сунул коробку под мышку. Он знал, что Роза положила туда сэндвич, который приготовила себе для похода на собрание любителей бриджа: с ломтиками индейки в меду, которую жена обожала и специально покупала в магазине Марвина за лютеранской церковью, и с добавлением солидных кусочков пикулей. В качестве благодарности он поцеловал жену, но мысли его были полностью поглощены тем, что ему довелось услышать, поэтому он без лишних слов схватил свою бежевую шляпу и сел за руль личного пикапа.

Ферма Мэки располагалась к западу от Карсон Миллса, втиснувшись между затянутым тиной прудом и цепочкой холмов, поросших пожелтевшей травой, где паслись овцы и бараны. Джарвис припарковался рядом с черно-белой машиной Дуга, напротив ветхого загона для скота. Сколько лет собственность Роя приходит в упадок, а он и в ус не дует? Здесь разваливалось все, вплоть до самого фермера, рыжеволосого, сгорбленного, казавшегося вдвое старше своих сорока лет и тощего как волк. Каркнула ворона, к ней присоединилась другая, затянув ту же мрачную песню. Обе сидели где-то среди ветвей высоких елей, обрамлявших ферму с запада, отчего она производила впечатление заросшего растительностью полуострова, рискувшего оторваться от большого леса за землями Мэки.

Джарвис подавил вздох. День не сулил ничего хорошего, это чувствовалось уже в воздухе, несмотря на снежинки, медленно падавшие из небесных недр. Основные неприятности шерифа сводились к пьяным дракам по вечерам, нескольким ссорам между соседями и, время от времени, к кражам в центре города. Иногда случайный бродяга сеял раздор в городе, однако вооруженные люди Джарвиса быстро выпроваживали его за пределы округа, и раз в три или четыре года ватага наглых байкеров неожиданно делала остановку в Карсон Миллсе, впро-

⁴ Купероз – поражение мелких сосудов на лице, характеризующееся появлением мелкой сосудистой сеточки (*прим. пер.*).

чем, под неусыпным наблюдением шерифа. Но больше всего Джарвис не любил сталкиваться с нарушениями из сферы этики и морали. В таких случаях он всегда чувствовал себя не в своей тарелке и зачастую не знал, как разрешить проблему. Мужья, колотившие жен, супружеские измены, неожиданно ставшие достоянием гласности, мальчишки, сбежавшие от слишком тяжелой отцовской руки, и самое отвратительное – случаи сексуального насилия. И тут уж никак нельзя ошибиться, а на протяжении десятилетий такие происшествия не раз имели место. И каждый раз Джарвис повторял: всюду, где есть мужчины, будут и «отвратительные случаи сексуального насилия». Сексуальная агрессия у мужчин в крови. А некоторым парням она внезапно ударяла в голову, словно взболтанная газировка, и тогда происходил взрыв.

Повсюду на территории округа установилась зима, сомнений больше нет: утро уже наступило, а на улице все еще темно, поэтому за грязными окнами фермы поблескивал рыжеватый свет. Джарвис постучал в дверь и, войдя, обнаружил почти всю семью, сидящую на скамейках вокруг большого стола, в то время как Дуглас в своей служебной форме защитного цвета стоял в глубине комнаты, служившей и гостиной и кухней. Рой встал, приветствуя шерифа. Он, казалось, сгорбился еще больше, чем обычно, глаза покраснели от усталости и гнева, и Джарвис тотчас отметил, что от него пахло спиртным. Возможно, это контрабандный виски, который он покупал за бесценок у кого-нибудь из фермеров-северян, выращивавших кукурузу. Джарвис никогда не хотел совать нос в эти дела, а поскольку до скандала никогда не доходило, то они так и оставались делами взрослых, а шериф предпочитал держаться от них подальше. Мир в Карсон Миллсе зиждился на сплаве толерантности и твердости, и только шериф разбирался в этих сложных переплетениях.

Мэгги, жена Роя, сидела рядом с сыном, имя которого Джарвис забыл, и двумя дочерьми. Шериф уже не знал, сколько детей у Мэки, но был уверен, что отсутствовала старшая, рыжая девица, которую все в городе считали уродиной за ее слишком длинные ноги, пышную огненную шевелюру и подпрыгивающую походку.

– Спасибо, что приехали, Джеф, – произнес Рой, садясь рядом с женой.

Джарвис ненавидел, когда его так называли. Он с трудом скрывал раздражение, когда к нему обращались по имени, а уж превращать полное имя в уменьшительное казалось ему верхом неуважения. Но принимая во внимание обстоятельства, он предпочел промолчать.

Дуглас протянул ему жестяную кружку.

– Кофе, шеф?

Джарвис отрицательно покачал головой и подошел к столу. Все выглядели измученными от выпавшего на их долю испытания.

– Вы уверены, что все правильно рассказали Дугласу? – спросил шериф самым кротким тоном, на какой только был способен.

Рой уставился куда-то в одну точку, поверх стола, в пустоту, потом повернулся к жене. Пучеглазые глаза Мэгги наполнились слезами.

– На нее напали, шериф, – произнесла она, сдерживая рыдания.

– Сегодня ночью?

Мэгги кивнула.

– Я проверил окно в комнате девушки, – вмешался Дуглас, – его явно взломали, следы совсем свежие.

Не обратив внимания на слова своего помощника, Джарвис наклонился к Мэгги.

– Расскажи мне, – произнес он низким голосом.

– Я нашла ее сегодня утром расprostертую на кровати. Она все время плакала. Она отказалась говорить, что с ней произошло, но когда я увидела, в каком она состоянии и как она шла в туалет, я поняла. К тому же, ее простыня запачкана кровью...

Она умолкла, будто слова в тревожном ожидании застыли у нее на губах, а потом растворились в пространстве между собеседниками.

– А дальше, Мэгги? – настаивал Джарвис.

Обведя смущенным взглядом сидевших вокруг стола домочадцев, фермерша едва слышно промолвила:

– Думаю, ее изнасиловали.

Джарвис нервно провел рукой по усам. С годами это движение превратилось в настоящий тик, хотя он отказывался считать его таковым; все мужчины, которые носят усы, регулярно их поглаживают, думал он, потому что это приятно и столь же естественно, как пригладить растрепавшиеся волосы.

– А она, что она сама говорит? – спросил он, пытаясь вспомнить, как зовут старшую дочь Мэки.

– Луиза ничего не говорит, – произнес Рой, – ни единого слова.

Луиза. Луиза рыжая дылда. Она молчит, потому что ее унизили, или потому что она узнала нападавшего и боится его?

Джарвис посмотрел на сына Роя. Ему, должно быть, лет одиннадцать, не больше. Одной проблемой меньше. Он слишком мал, чтобы его подозревать.

– И никто из членов семьи ничего не слышал и не видел, – вставил Дуглас, – я уже всем задал этот вопрос.

В последнее время никто не сообщал о появлении в городе каких-либо подозрительных бродяг, подумал Джарвис, а запад округа считался диким и безлюдным, не то место, куда ново-прибывший в эти края рискнул бы отправиться, здесь делать нечего. Тогда кто-то из ближайших соседей? Стюарты. Нет, с этой стороны опасности никакой. А дальше к югу Петерсены.

Пальцы Джарвиса замерли на усах. Петерсены. Проблемная семья. Дед, бывший пьяница, склонный к неоправданным вспышкам гнева и ставший с недавнего времени затворником, и его чокнутые дочери: одна красotka, она недавно сбежала, другая – старая гримза. Но главное – папан. Йон.

– Она совсем ничего не сказала? – снова задал вопрос Джарвис.

Мэгги отрицательно покачала головой.

– Вы позволите мне повидать ее?

Мэгги встала и направилась к закрытой двери, но Джарвис движением руки остановил ее. Его строгий взгляд свидетельствовал о непреклонности решения.

– Я пойду один.

Трижды постучав, он вошел и тотчас закрыл за собой дверь. Сняв свой стетсон и прижав его к груди, он подошел к кровати, где под шерстяным одеялом лежала, сжавшись в комок, Луиза. В комнате не было ни керосиновой лампы, ни свечи, и приглушенный синеватый свет снежного утра, проникая в комнату, сглаживал углы глубоких теней. Возле кровати громоздилась куча смятых простынь. Мэгги решила ничего не стирать, сохранить до приезда шерифа. Для расследования это хорошо. Джарвис подтащил к кровати стул и сел на него верхом. Чтобы ненароком не причинить девушке боль, он решил не касаться ее, хотя ему очень хотелось ободряюще погладить ее по голове или по руке.

– Луиза, ты узнаешь меня? Я шериф Джефферсон. Ты ведь знаешь, почему я здесь?

Торчащая из-под одеяла рыжая прядь шевельнулась, и показались рыжие кудряшки, обрамлявшие сморщенное личико. Ей, самое большее, лет шестнадцать-семнадцать, прикинул Джарвис, и смотрит как зверек, затравленный хищником.

– К тебе ночью приходил мужчина, так ведь?

На какой-то миг в нем пробудилась надежда, что речь шла о неуклюжем возлюбленном, а мать, увидев состояние девушки, ошиблась в оценке ситуации, но он быстро понял, что заблуждается.

– Он сделал тебе больно?

На этот раз, поколебавшись, Луиза робко кивнула.

– Он... Он делал с тобой...

Джарвис ненавидел обсуждать подобного рода тему с женщинами, тем более с почти девчонкой, и пообещал себе выбирать слова.

– Я хочу сказать, он в тебя *проник*?

Луиза глубоко вздохнула, а ее тело сжалось, словно пыталось занять на кровати как можно меньше места. Она кивнула.

– Понимаешь, я хотел бы арестовать того, кто сегодня ночью причинил тебе боль. Ты его видела?

Немного подумав, Луиза замотала головой.

– И ты не предполагаешь, кто это мог быть?

На этот раз слезы затопили нефритовые глаза, и девушка снова завертела головой. Джарвис разочарованно вздохнул. Он попытался выудить из нее хотя бы отличительный признак, примерное описание, телосложение, рост, прическу, но девушка лишь плакала еще сильнее. Нападающий разбудил ее посреди ночи, ударил, изнасиловал, и она испытала такой сильный шок, что ничего больше не помнит.

Решив оставить ее в покое, Джарвис вышел, чтобы самому обойти дом, пока еще снег не замел все следы, но на замерзшей земле не осталось ни одного отпечатка. На косяке окна комнаты Луизы он заметил царапины. Впрочем, это оказался единственный след взлома, оставленный отверткой или каким-нибудь сходным инструментом, но принимая во внимание ветхость древесины, чтобы открыть окно, много времени не потребовалось. Ставни сломались явно уже давно, однако Джарвис заметил, что с внутренней стороны на окна висела пара грубых занавесок. Но даже если их и забыли задернуть, различить Луизу, спящую в своей кровати, вряд ли было возможно. Нет, нападавший точно знал, куда шел. Он знал все о ферме и ее обитателях, это не случайный прохожий, не беспринципный чужак, воспользовавшийся случаем безнаказанно совершить грех. Определение тотчас не понравилось Джарвису, и он упрекнул себя за то, что мыслит такими категориями. Он отошел подальше, чтобы мысленно отстраниться от маленькой фермы. Итак, парень явно из местных. Кто-то, кто наблюдал за передвижениями рыжеволосой дылды Луизы, кто знал, где ее искать. Самоуверенный тип, осмелившийся изнасиловать ее под боком у родителей, или же полностью безмозглый. Возможно, рецидивист, опытный в подобного рода нападениях, знающий, как заставить жертву замолчать, закрыв ей рот рукой, и одновременно раздвинуть ей ноги... Нападение совершил не любитель, а тот, кто давно специализируется на такого рода преступлениях. В Карсон Миллсе Джарвис знал трех-четырех типов, уже попадавших в тюрьму за сексуальное насилие, и тех, кто такое насилие мог совершить. Надо как можно скорее допросить их, и в их интересах предъявить ему железное алиби, если не хотят, чтобы он дал им такой пинок под зад, что они улетят на треклятую Луну, о которой по телеку только и говорят. Пошлет как космонавтов прямиком на это большое бугристое светило!

Вернувшись под окно, Джарвис заметил на земле что-то цветное и присел на корточки, чтобы получше рассмотреть. Раньше ни он, ни Дуглас не заметили этого пустячка, потому что его наполовину прикрывал снег. В нем самом не было ничего удивительного, кроме того, что время года явно неподходящее, и на какой-то миг шериф задался вопросом, не является ли эта ерунда своего рода подсказкой, которую необходимо учесть, но тут же покачал головой. Наверняка Луиза сама положила ее на подоконник. Рядом с хлебными крошками. День только начинался.

Джарвис вернул на место маленькую хрупкую штучку, найденную на снежном ковре, изменившем окрестный пейзаж.

Это был засушенный мак, плоский от долгого лежания между страницами книги.

Изнасилование Луизы Мэки застряло в сердце Джарвиса Джефферсона неподдающимся разжижению сгустком, время от времени напоминавшим о себе болезненным покалыванием в груди. В последующие недели после происшествия шериф допросил всех возможных подозрительных лиц, скрупулезно проверил их алиби, расспросил окрестных соседей, пытаясь найти хотя бы малейшую зацепку, трижды возвращался для разговора с жертвой, но она больше ничего не могла сказать. Мерзавцу удалось вывернуться, а Джарвис многие годы считал, что так и умрет с ощущением этого поражения, прибавившегося к тем немногим, которых набралось за десятилетия работы и которые, как он думал, в итоге сведут его в могилу, ибо каждое темным пятном оседало у него в душе, свивая перспективное гнездо для рака и инфаркта миокарда. Тогда он даже представить себе не мог, что когда-нибудь все выплывет наружу и эта история завершится, причем самым неожиданным образом.

Но инстинктивно он понимал, что этот период жизни Карсон Миллса оказался самым мрачным со дня его основания, провалом, цивилизационной дырой, в которую тотчас устремилась мутная и тинистая вода, словно чтобы скрыть собой бездну. Своего рода момент, когда человечность сдает свои позиции, а дикий зверь, по-прежнему спящий в человеке, вновь одерживает верх. У Джарвиса имелся собственный взгляд на эволюцию: он считал ее продолжительной битвой между разумом, плодом тысячелетий развития, вытянувшим наш вид наверх, и звериными корнями этого вида, компостом из наших самых диких инстинктов, позволившим нам так долго выживать посреди враждебной территории. Так, когда Луизу изнасиловали, свет временно покинул городок, и его накрыло пятно мрака, пробудив в человеке самое худшее. Вечерние драки участились, однажды ночью Дерек Макханоран выстрелил в своего шурина, уложив его наповал. Он наотрез отказался объяснить свой поступок, но тотчас нашлись те, кто утверждал, что шурин поддерживал непристойные отношения с собственной сестрой, супругой Дерекка. Молния ударила в колокольню методистской церкви, расколов все витражи и чрезвычайно напугав многих ее приверженцев. В ту же ночь родился двухголовый теленок, что окончательно убедило самых благочестивых прихожан, что в пригородах Карсон Миллса орудует Нечистый. Джарвис Джефферсон, хотя и посещал методистскую церковь, верил больше фактам, нежели знамениям, поэтому когда нашли труп Терезы Тернпайк, он понял, что они вошли в черную полосу и пора удвоить бдительность, чтобы защитить городок и его обитателей.

Тереза Тернпайк исполняла обязанности социального помощника для детей города. Поскольку она работала библиотекарем, помогала она неофициально, но все дети, столкнувшиеся с трудностями, знали, что могут прийти к ней и она внимательно их выслушает, даст совет, а при необходимости окажет конкретную помощь: накормит горячим обедом, предоставит возможность перекаптоваться одну-две ночи и обеспечит участие мэрии в делах семьи, а в некоторых, самых крайних случаях поможет обратиться в администрацию штата, находящуюся в Вичите. Тереза Тернпайк читала не только книги, но и человеческие души, особенно души самых юных. На протяжении нескольких лет дети шептали ее имя в школьных дворах и на неприметных дорожках, как будто речь шла о чем-то секретном, подобно французским участникам Сопротивления, которые во время нацистской оккупации передавали друг другу имя командира отряда. Тереза принимала ребят в библиотеке, и в целом они действовали примерно одинаково: первый раз приходили под предлогом взять книгу, иначе говоря, прощупать почву, не смея ничего спросить, а главное, выдать себя. Таких Тереза засекала моментально, глаз у нее был наметан. Прежде всего, у таких детей не было читательского билета, и во время оформления они старательно изучали Терезу, особенно когда она поворачивалась к ним спи-

ной, чтобы заполнить карту и поставить штамп, и никогда не замечали, что она могла видеть их отражение в небольшом зеркале с нанесенным на него изречением Марк Твена. Потом они начинали рыться на полках, делая вид, что ищут книгу, но в основном бросая взгляды в сторону библиотечарши, а не на разноцветные переплеты, и брали книгу, совершенно неподходящую для их возраста, вытаскивали наугад, а потом робко клали ее на блестящую пластиковую стойку. Тереза возвращала им карточку, наклонившись, брала за руку и каждый раз говорила одно и то же: «Держи, приятного чтения. А если в следующий раз тебе понадобится помощь, приходи, не раздумывая, я здесь, чтобы помочь тебе». И больше ничего. Оставшийся путь детям предстояло проделать самим. Но она знала, что ее слова откладываются у них в головах и продолжают звучать еще долго, и каждый, кто хочет понять, внимательно к ним прислушивается. Самые целеустремленные в конце концов возвращались, сосредоточенно наблюдали за другими посетителями библиотеки, а когда убеждались, что никто их не подслушивает, подходили к Терезе, говорили, что много о ней слышали, и, возможно, она сможет им помочь. Она отмечала, что в самых тяжелых случаях они не просили помощи напрямую, а начинали со слов: «у меня проблема, мадам Тернпайк». Она назначала им встречи во время своего обеденного перерыва, иногда ей даже приходилось закрывать библиотеку, но никто в городе, включая мэра, никогда не высказывал неудовольствия.

Все знали, как много она делает для детей, знали о ее набожности, и многие сокрушались, что редко когда имя настолько не соответствует тому, кому оно досталось⁵, ибо Тереза все делала бескорыстно, исключительно по доброте и из любви к ближнему. Злые языки во главе с миссис Бромис (главной организаторшей вечеров торговой марки «Тапервеар» в Карсон Миллсе, председательницы бридж-клуба и ревностной поборнице методистской церкви) утверждали, что у Терезы Тернпайк никогда не было своих детей, потому что никто не соблазнился стать ее мужем, ибо в ее сердце находилось место только для книг. Однако все остальные считали ее исключительно приветливой и трудолюбивой, хотя иногда вспоминали, что в нашем городе она являлась одним из малочисленных сторонников демократов, и опасливо шептались – словно речь шла о ее участии в субботних шабашах, – что в свое время она сочувствовала социалистам, которых маккартисты так и не вывели на чистую воду.

Тело Терезы Тернпайк нашли спустя десять дней после изнасилования Луизы Мэки неподалеку от железнодорожных путей, к востоку от города, в зоне заброшенных складов, построенных во времена стремительного движения на запад: по мере того, как поезда на Калифорнию и Аризону переставали использовать эту ветку, склады постепенно пустели, превратившись в просторные ангары, где свистел ветер, а во времена сухого закона иногда прятались бутлегеры. Теперь этого заброшенного места избегали даже парочки, ищущие уединения. Туда забредали разве что бездомные собаки да проезжие пьянчуги, а еще, судя по слухам, женатые мужчины, ищущие противоестественных отношений с другими мужчинами.

Обнаружив ее там, шериф и его помощник Беннет, прижав шляпы к сердцу, долго стояли, печально глядя на труп, распростертый лицом к земле, его неестественно вывернутые конечности не оставляли сомнений в судьбе жертвы. Морозное утро уступало свои права дню, снег, выпавший ранее, не удержался, но холодный ветер, прилетевший с востока, гулял по равнине и свистел между фасадами домов. Анонимный звонок раздался в рабочем кабинете шерифа, и дрожащий мужской голос сообщил, что возле «складов позора лежит труп женщины, мир ее душе». Из-за сомнительной репутации зону пустовавших складов в добропорядочных семьях Карсон Миллса называли «складами позора». Мужчина тотчас повесил трубку, и Беннет однозначно решил: случайный свидетель, возможно, потенциальный «клиент», явившийся на встречу и обнаруживший труп, но никак не убийца, ибо он говорил «слишком взволнованно, слишком нервно».

⁵ В Соединенных Штатах *turnpike* означает платную дорогу (прим. авт.).

Когда шериф наклонился и прижал два пальца к шее Терезы Тернпайк, пытаясь нащупать пульс, которого, разумеется, уже не было, стало понятно, что та была мертва уже долгое время. Лицо ее было повернуто набок, позволяя разглядеть левую его часть, и Джарвис с глубоким волнением отметил, что даже спустя время после смерти оно сохранило тревожное выражение. Очень горько, что такая добрая женщина погибла от рук насильника. Она этого не заслужила, совсем не заслужила. Но стало еще хуже, когда они перевернули ее и обнаружили распухшую, покрытую фиолетовыми пятнами маску, которую являла собой другая половина ее лица. Джарвис заметил несколько вырванных ногтей, напомнивших капот машины, поднятый для проверки двигателя, по меньшей мере два сломанных пальца и предположил, что в больнице Энид, куда отвезут труп и составят подробный протокол осмотра, зафиксируют многочисленные кровоподтеки на всем теле. Но это уже для врачей, не для него. Джарвис совершенно не хотел созерцать изуродованное тело Терезы Тернпайк. Он вообще не любил смотреть на мертвые тела людей, которых знал, а тем более женщин, от этого ему становилось особенно плохо: вопрос стыдливости и уважения.

Джарвис несколько раз старательно разгладил ладонью густые усы, кончики которых загнулись кверху.

– Это не местный парень с ней сделал, – пришел к выводу Бенет. – Никто из здешних не стал бы причинять зло Терезе.

Джарвис скептически усмехнулся. Он не разделял его мнения.

– Напротив, Бенни, именно кто-то из местных мог иметь причины ее ненавидеть. Тереза вмешивалась в семейные ссоры, часто вытаскивала скелеты, которые предпочитали прятать по шкафам, к тому же, в округе несколько папаш и мамаш потеряли своих детей из-за нее или благодаря ей.

Ибо за последние двадцать лет Тереза Тернпайк поместила в приемные семьи с полдюжины детей. Детей, с которыми плохо обращались, которых били смертным боем и запугивали собственные родители. Но были и дети, для которых она не смогла ничего сделать.

– Негодяй совсем остервенел, ты видел, во что он превратил ее голову? – промолвил Джарвис. Он был в ярости. – Это кто-то из местных, уверен. Кто-то, кто имел на нее большой длинный зуб. Не знаешь, какие дела она вела с детишками в последнее время?

– Нет, после сына Эдвина Джеймса я ничего не слышал.

Шериф прекрасно помнил Маркуса Джеймса. Его школьные приятели сами пошли к библиотекарше, потому что мальчик боялся кому-либо довериться. Почти каждый вечер он покорно терпел побои от своего отца-алкоголика. Маркус испугался и отказался говорить даже с Терезой, а тем более с людьми шерифа, и это несмотря на синяки, покрывавшие его руки. На другой день он пропустил школу и вернулся только в следующий понедельник с разбитой губой и отсутствующим зубом. Джарвис до сих пор продолжал горько упрекать себя. Он слишком долго не вмешивался, и Тереза Тернпайк сама поднялась в квартиру, расположенную над бывшей мастерской по изготовлению текстиля, и пригрозила Эдвину черенком сломанной метлы, а тот влепил ей такую затрепщину, что она упала. На следующее утро Джарвис отправился к Эдвину в сопровождении Дугласа, и они задали ему хорошую трепку, напомнив, что в Карсон Миллсе никто не имеет права вести себя таким образом. Вдобавок, желая дать ему понять, что теперь он у них под наблюдением, Дуглас вылил ему на голову три бутылки виски, найденные в шкафах, обжигая алкоголем скулы и десны Эдвина. Если Маркус вернется в школу хоть с малейшей ссадиной, шериф и его помощник вернутся и на этот раз законопатят папашу в камеру на несколько недель, лишив его любимого поила. В глубине души ни шериф, ни его помощник не хотели сажать Эдвина, он являлся единственным родственником Маркуса, единственным, кто мог его кормить и платить за жилье, так что тюремное заключение стало бы наказанием также и для сына, но они надеялись, что им удалось изменить ситуацию хотя бы

на некоторое время. Это все, что они могли сделать, чтобы уменьшить причиненный ущерб. Так вершилось правосудие в Карсон Миллсе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.